Мир

№ 11-12

Борьба Миров

№ 11—12
НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ
1932 г.
ВЫХОДИТ
один раз в месяц
ИЗДАНИЕ
„КОМСОМОЛЬСКОЙ
ПРАВДЫ“

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Ленинград, Улица 3 Июля, д. 35—14.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Стр.

И. БРАЖНИН
Мальчик под елкой 3

Н. КОНСТАНТИНОВ
Разговаривают цифры 13

ЛЕОНИД ГРАБАРЬ
Выбор профессии 14

ЮРИЙ ГЕРМАН
Бык 22

С. БЕЗБОРОДОВ
Потомки 33

МИРА АЙЗЕНШТАДТ
Карьера Эдди Вальтера 40

НИК. КОСТАРЕВ
Короткий разговор 43

Л. САВЕЛЬЕВ
Три рассказа ученых 46

Наука на линии огня 53

В. ДРУЖИНИН
Второе слагаемое 58

Иллюстрации в номере художников:

О. ВЕРЕЙСКОГО
А. ИВАНОВА
В. ИВАНОВА
А. МИНЧИКОВСКОГО
Н. МУРАТОВА
В. СВЕШНИКОВА

Посмотрите на карту СССР! Пятилетка перекроила лицо страны. К северу от Вологды, к юго-востоку от Ростова-на-Дону и Саратова, к югу от Оренбурга и Омска, к северу от Томска — на всех этих пространствах выросли гигантские совхозы, колхозы, заводы, шахты, города. Под Ростовом — Сельмаш, в Харькове — Тракторный, в Москве — Подшипникстрой, Фрезер, в Нижнем Новгороде — Автомобильный, близ горы Атал — Магнитогорск, Кузнецкстрой. Уголь, металл, машина, трактор, автомобиль, нефть, хлопок. Посмотрите на карту СССР! Посмотрите, как выполняются заветы Ленина.

(СТАЛИН)

Съ Новымъ Годомъ!

МАЛЬЧИК ПОД ЕЛКОЙ

И. Бражнин

рисунки В. Свешникова

I

Был канун Рождества.

На ярко освещенных улицах теснились предпраздничные толпы.

— Я люблю этот вечер. Я люблю сочельник, — сказала Марта. — В нем — аромат старой сказки и предчувствие новых радостных перемен...

— Да, перемены будут, — сказал случайный сосед Марты, большеносый парень в засаленной кепке.

— Перемены будут, — поддержал парня маленький старичок с трубкой. Старичок был сутул и бородат. Руки его залубенели от работы. Он сосал трубку, но в ней не было огня. Три недели как в ней не было ни щепотки табаку. Но он ходил и сосал трубку. Старые привычки, — от них не так легко отстать.

— Я не могу больше, — сказал маленький оборвыш без шапки. — Я исхожу слюной. Я разобью стекло и возьму этот окорок и эти яблоки.

— Хорошо, — сказал старичок и равнодушно пососал трубку.

— Пойдем отсюда, — испуганно зашептала Марта своему спутнику. — Здесь будет скандал.

Продавцы стояли вытянувшись перед прилавками и смотрели на двери. Они ждали покупателей. Рождественские гуси вытягивали длинные мертвые шеи. Круглоголовые сыры поблескивали вкусно пахнущими лысинами. Розовые щечки яблок алели жирным, маслянистым румянцем. Они стояли выстроившись и ждали покупателей. Но покупателей не было. Музыкальный ящик, поставленный для привлечения покупателей, наигрывал веселый марш. Тупоносый поросенок, выпучив остекленевшие глаза и наставив уши, слушал веселый марш. Мертвые гуси слушали веселый марш. Полумертвый от огорчения хозяин слушал веселый марш.

Вдруг раздалось тонкое пение разбиваемого стекла. Приказчики онемели от испуга. Музыкальный ящик перешел на полку. Хозяин завизжал и бросился наружу.

Толпа разбегалась. Полицейский держал за ворот оборванца — мальчишку

без шапки. Мальчишка сжимал в руках два яблока. Из-под ладони текла тонкая струйка крови. Яблоки, окрашенные кровью, походили на гранаты.

Хозяин бросился на мальчишку без шапки, но полицейский отстранил его.

— Все будет сделано по закону. Я отведу его куда следует.

— Везет парнишке, — сказал большеносый парень, провожая глазами оборвыша, — сегодня он переночует в тепле.

Старичок подвинулся к хозяину магазина.

— Добрый вечер, — сказал он, приподняв шапку, — не найдется ли у вас щепотки табачку в долг, под честное слово? Через годик, другой я отдам.

Хозяин подскочил на месте, ударил старичка в ухо, потом завертелся как укушенный, потом разбил второе стекло витрины, вбежал через пролом в магазин и стал выкидывать на улицу гусей, поросят, сыры, паштеты и яблоки. Приказчики в ужасе метались по магазину и хватали хозяина за руки. Но хозяин вырывался. Яблоки катались по улице и хрустели под толстыми колесами автобусов.

Старичок, держа под мышкой толстого рождественского гуся, просовывал голову в дверь и, приподняв шапчонку, кричал:

— Табачку, табачку, хозяин, не забудь выкинуть.

Музыкальный ящик снова заиграл веселый марш. Приказчики наконец осилили хозяина и связанного повезли в сумасшедший дом. Толпа перед магазином густела. Толстый приказчик отнимал у старичка гуся.

2

Мальчишку привели к дежурному. Дежурный скучно зевнул и подвинул к себе чистый лист бумаги.

— Где взят? За что?

Полицейский, пришедший с мальчишкой, отвечал с должной точностью и обстоятельностью.

— Как тебя зовут? Кто ты такой? — обратился дежурный к мальчишке.

— Я? Кто я такой? — переспросил оборвыш, — но вы меня отлично знаете.

— Ага! — кивнул дежурный. — Значит ты попадаешься не впервые? Я так и знал.

— Ах нет, — сказал оборвыш, — это первый раз. Я никогда не воровал. Посмотрите, какие у меня честные глаза, какое открытое лицо, какие волосы и какие живописные на мне лохмотья.

Полицейский поглядел на мальчишку и поставил на протоколе жирную кляксу.

— Чорт возьми, — сказал он, заикаясь. — Все это так... Твое лицо мне что-то напоминает. Я где-то видел его...

— Ну конечно видели, — вскричал оборвыш. — Каждый год во всех рождественских номерах журналов...

— Журналы? Постой... Постой... Нет, не могу вспомнить. Да кто же ты наконец? — рассвирепел полицейский.

Оборвыш отер окровавленную руку и спрятал ее под живописными лохмотьями.

— Я — мальчик под елкой, — сказал он, скромно потупясь.

3

Известный беллетрист Марсель Питу сидел в своем кабинете. Перед ним лежали перо и чистый лист бумаги. В кабинете было холодно, папиросы кончились еще утром... Марсель Питу позвонил. Вошла горничная.

— Мари, сходите за папиросами... Мне нужно работать... И потом затопите камин.

Горничная поклонилась.

— Слушаюсь.

Марсель Питу схватил перо и придвинул к себе бумагу. «Звездная пыль» — вывел он на верху чистой страницы и, задумавшись, поднял голову. Горничная была еще здесь.

— Что же вы стоите? — вскричал Марсель Питу, бросая перо. — Ведь я послал вас за папиросами. Я не могу работать без папирос...

Горничная снова поклонилась.

— Прошу прощения, мсье Питу, но у меня нет денег.

— Как у вас нет денег? — раздражаясь, крикнул Питу. — Но я же вам давал деньги.

Горничная поправила передник.

— Это было на прошлой неделе, мсье Питу.

Пойдем отсюда, здесь будет скандал

— На прошлой неделе... на прошлой неделе... — смущенно забормотал Питу. — Действительно, это, кажется, было на прошлой неделе... Да... Да... я вспоминаю... но может быть у вас что-нибудь осталось?..

— Нет, мсье, у меня ничего не осталось. Я прибавила свои сто франков... Вчерашний обед...

— Хорошо, хорошо, — перебил Марсель Питу, неприятно морщась. — Вы получите свои сто франков, даже полтораста... Можете итти...

Горничная повернулась и пошла к двери. Марсель Питу склонился над столом, потом снова поднял голову и тихонько позвал:

— Мари!

Горничная остановилась, положив руку на поручни дверей.

— Мари, — тихо сказал Марсель Питу, пряча глаза. — Я хотел вас просить... У вас должно быть найдется пара франков... Завтра я получу деньги. Вот я сдаю рассказ... Если бы вы купили мне пачку папирос, Мари...

Горничная стояла у дверей молчаливая, застывшая... Марсель Питу поглядел на нее украдкой. Рука его, державшая перо, дрогнула.

— Мари... милая Мари, — это необходимо... Ты должна это сделать. Я не могу работать... Ради нашей любви...

Горничная рванула дверь и с плачем выбежала из комнаты. Она мчалась вниз по лестнице, как одержимая... Она выбежала на улицу. Она схватила под руку первого попавшегося мужчину и, повиснув на нем, зашептала:

— Хотите?.. За одну пачку папирос... Только за одну пачку папирос... Я красивая... Всего одну пачку папирос...

Высокий парень в промасленной кепке отшатнулся.

— Оставь, — сказал он зло. — У меня нет пачки папирос... У меня ничего нет... и я сам чертовски хочу курить...

4

В дверь постучали.

— Можно?

— Войдите.

Марсель Питу поспешно одернул пиджак и спрятал рукав, на котором было сальное пятно. Дверь открылась. На пороге стоял парень в промасленной кепке с открытым лицом и правдивыми глазами.

— Здравствуйте, — сказал парень.

— Здравствуйте, — ответил Марсель Питу и указал рукой на стоявшее против него кресло. Парень увидел на вытертом рукаве знаменитого писателя сальное пятно. Марсель Питу поймал его взгляд и покраснел. Парень дружелюбно усмехнулся.

— Повидимому ваши дела, мсье, идут неважно. Ваши высоко интеллектуальные романы никому не нужны. В них мало похабщины. Это не ходкий товар. Впрочем сейчас я вижу у вас на столе рукопись рождественской сказки... За сколько вы ее продали?

Марсель Питу сухо откашлялся и придвинул к себе начатую рукопись.

— Не имея чести знать вас...

— Чепуха, — перебил парень. — Вы меня отлично знаете. Взгляните на мое открытое лицо, вглядитесь в мои добрые глаза. А эти буйные волосы... Неужели они вам ничего не говорят?

Марсель Питу покачал головой.

— Н-нет, — сказал он заикаясь. — Я не знаю вас... хотя... постойте... ваше лицо что-то мне напоминает... Оно странно знакомо мне... Но я не могу вспомнить... Я не могу вспомнить, где мы с вами встречались. Это так смутно, как будто бы это было во сне...

— Чорт побери, — вскричал парень, — вспомните же наконец ваши ежегодные рождественские сказки.

— Мои сказки?

— Ну да, ваши сказки. Ваши шестнадцать рождественских сказок.

Марсель Питу покачал головой.

— Я ничего не понимаю. Кто же вы, наконец?

— Я... — парень отер рукою лицо и, потупясь, сказал: — Я — мальчик под елкой...

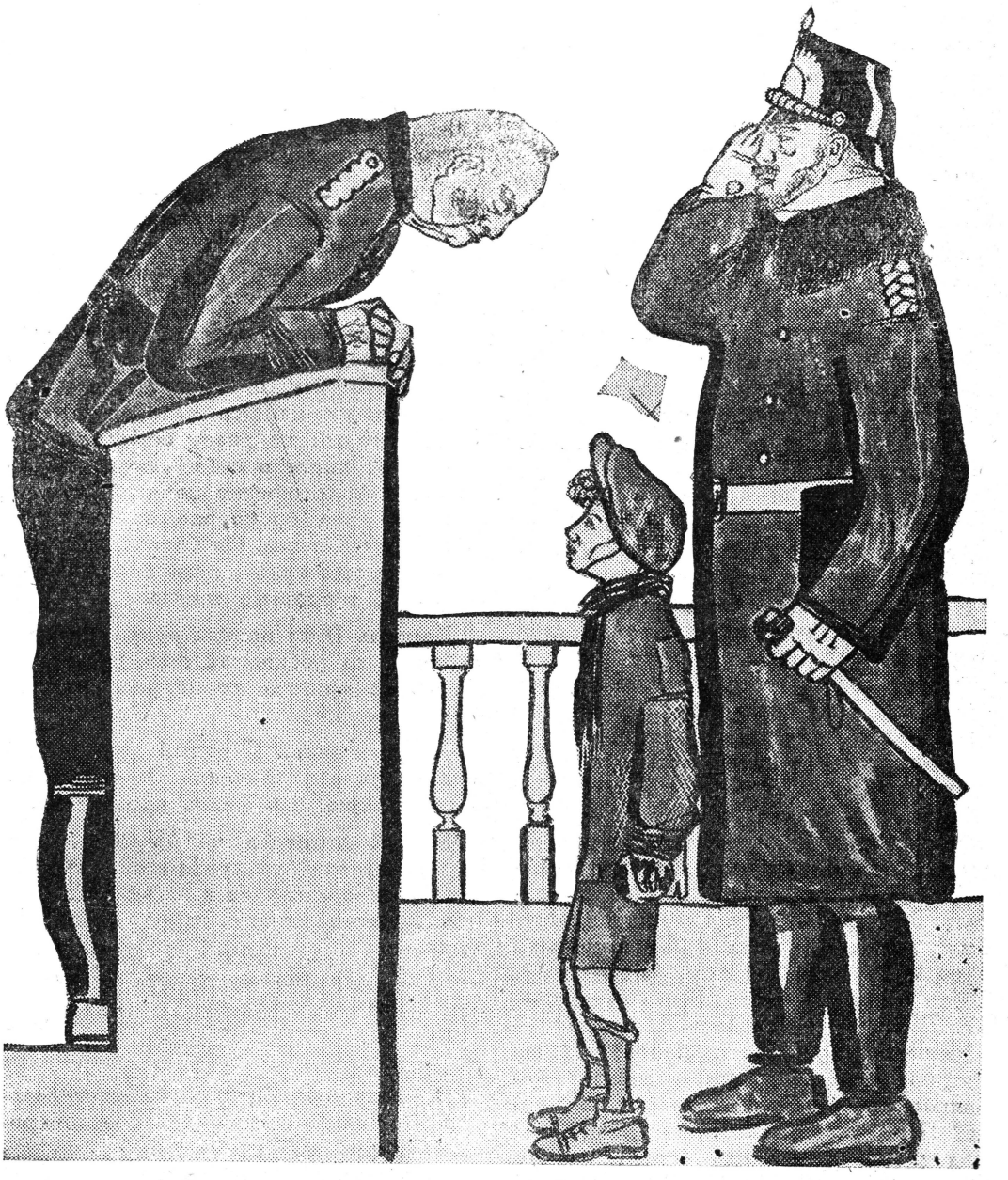
— Мальчик? — удивился Марсель Питу. — Но почему мальчик, когда вы уже мужчина? И почему под елкой? И при чем здесь я и мои рождественские сказки?

Парень обратил к Марселю Питу свое лицо. В добрых глазах парня горел недобрый огонек.

— Я буду краток, — сказал он, придвигаясь к столу и дыша в лицо Марселю Питу. — Я буду краток. Я в самом деле мальчик под елкой. Вы сами меня породили. Я — ваш образ. Ваш

мальчик под елкой... Вспомните вашу первую рождественскую сказку... Снег... Злая вьюга... Мальчик... Бедный заброшенный сиротка... Он замерзал... Звезды, далекие, равнодушные, смотрели вниз на жестокие дела земли. Но вы были сострадательным человеком. Вы хотели умягчить жестокости земных дел. И вы подсылали к мальчику случайного дровосека, или едущего на каникулы школьника, или возвращавшегося к семейному очагу мужа. И они спасали мальчика. Его окружали теплом, лаской. Далекие звезды теплились, как лампады... Мальчик смотрел на мир благодарными глазами, добрыми, при-

— Я — мальчик под елкой...



миренными глазами. В первый раз это случилось шестнадцать лет назад. Я был тогда оборвышем-мальчишкой, который жил в соседнем доме, питался отбросами и не знаю чем приглянулся вам. Вы погладили меня по голове и списали с меня вашего мальчика. Мне, то есть мальчику под елкой, было тогда семь лет. Но потом каждый год вы писали новую рождественскую сказку. Мальчик с каждым годом вырастал, но каждый год вы снова одевали его в коротенькие штанишки, ему снова было семь лет. Так поступают с вундеркиндами, которые, если судить по афишам, за десять лет не вырастают ни на один день.

«Так обстоит дело со мной. Теперь поговорим о ваших сказках. Вы — честный человек. Я верю, что вы проделываете все это искренно. Вы хотите пробудить в людях нежные чувства. Вы касаетесь сердечных струн. Вы хотите, чтобы ваши сказки возвышали, примиряли. Вы погружаетесь в некую мечту. Вы встаете над земными жестокими делами. Ваши прекрасные, сладкие слова убаюкивают, усыпляют, умягчают душу.

«Так обстоит дело с вашими сказками. Теперь поговорим о вас самих. Вы никогда не думали, что вы — негодяй? Сидите пожалуйста спокойно. Я повторяю свой вопрос: вы никогда не задумывались о том, что вы — негодяй, прекраснодушный, честный негодяй? Кому вы на руку играете, зализывая нежным вашим языком нашу подлую действительность? Люди гнили в язвах и нищете, а вы пели о прекрасных, недосягаемых, счастливых странах. И люди забывали о язвах, забывали о нищете, забывали о том, что надо бороться за обладание доподлинным земным счастьем. Вы одурманивали людей, вы расслабляли их волю, вы затушевывали правду, вы делали подлое, предательское дело, — вы помогали тем, кому было выгодно, чтобы рабы поменьше думали о своем рабском положении. Ваши сказки — ложь. Ваши сказки — яд. И вы сами, Марсель Питу, вы — отравитель, убийца, слышите? И вы должны прекратить это, слышите? Довольно сладкой лжи. Довольно, слышите? Я не хочу быть больше мальчиком под елкой. Я не хочу больше никого обманывать. Я беру вашу рукопись. Вот. Я рву ее на части. Вот.

Он подошел к холодному камину и бросив листки за решетку, вынул коробок спичек.

— Немного тепла лучше, чем много лжи, — сказал он, подставляя к огню скрюченные холодом руки.

Марсель Питу сидел в кресле, закрыв бледное лицо тонкими руками.

— Папиросу, — сказал он хрипло, — нет ли у вас папиросы?..

Парень пихнул ногой выпавший из огня листок.

— Папиросы? Нет, дружище, чего нет, того нет... Впрочем... У меня в кармане есть такая складка... Постойте... Так и есть... Живем, живем, старина. Немного помята, но все же...

Парень протянул Марселю Питу папиросу. Писатель схватил ее с жадностью, приник к ней губами, чиркнул спичкой, затянулся и, откинувшись в кресле, закрыл глаза.

Парень следил за ним, затаптывая выпавшие на пол искры. Лицо Марселя Питу было бледно. Тонкие черты его были изможденны. Это было лицо человека, который не знает покоя, потому что носит врага в себе самом. Мучительные философские поиски Марселя Питу в свое время многих толкнули в петлю. Он искал. Он боролся. Он пел о счастливых краях, куда ведут непроходимые, тернистые тропы.

Марсель Питу поднял руку, поднес к губам и, не раскрывая глаз, затянулся. Лицо его приняло спокойное, счастливое выражение.

— Боже мой... Я целый день не курил... Как это чудесно... В такие минуты я верю, что жизнь прекрасна...

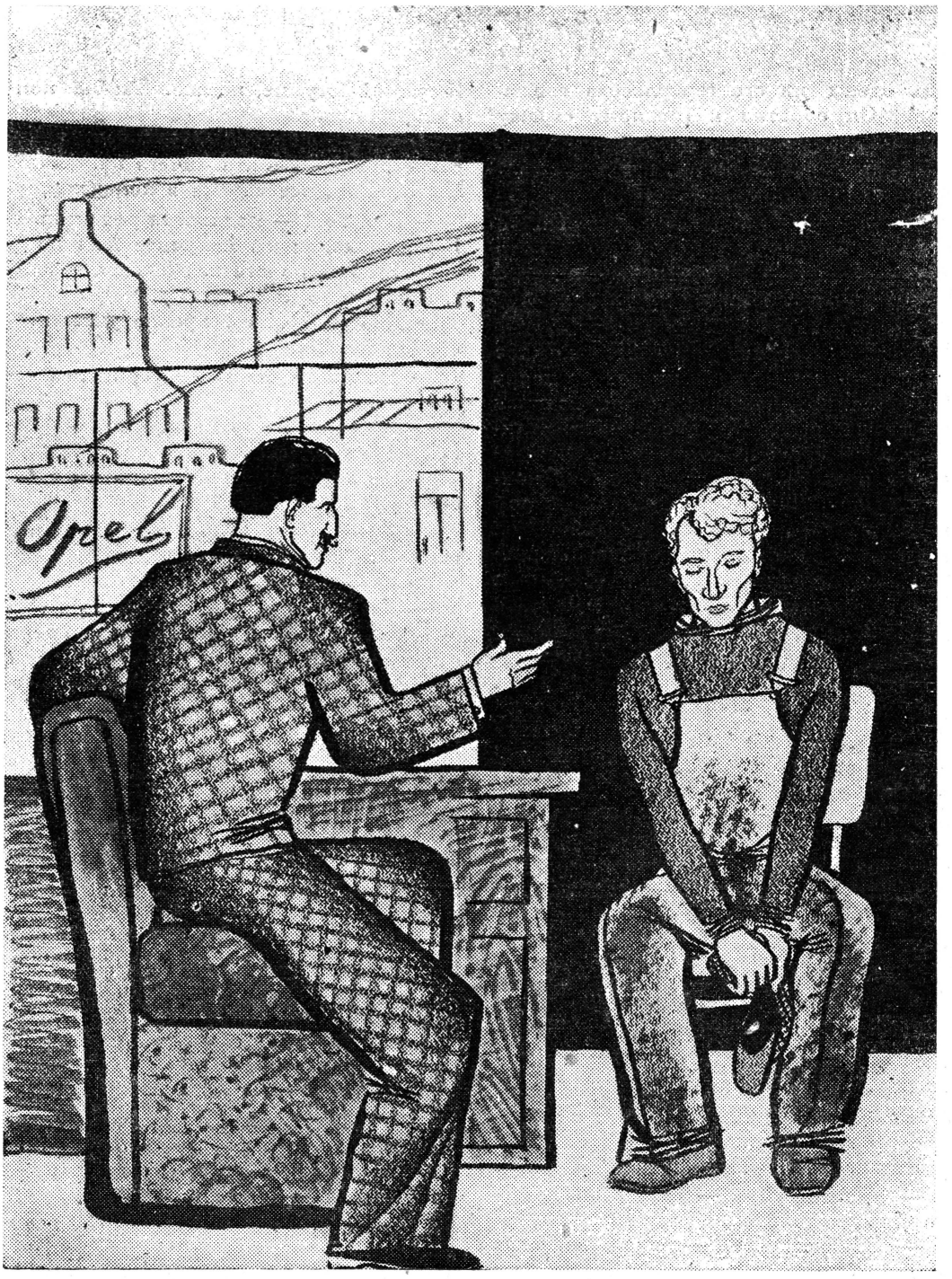
Парень поглядел на Марселя Питу и, безнадежно махнув рукой, вышел. Внизу он столкнулся с Мари. Она шла как лунатик, ничего перед собой не видя.

— Я дал ему папиросу, — сказал он. Мари заплакала.

5

В редакцию популярного еженедельника «Милый друг» вошел седобородый старик и, скромно потоптавшись в подъезде, сказал швейцару:

— Мне нужно редактора.



— Я — мальчик под елкой...

— Зачем тебе редактора? — спросил швейцар.

— У меня к нему чрезвычайно важное дело.

Швейцар критически оглядел старика. На нем была рваная одежда. Нечесаная борода осыпана была табачными крошками.

— Знаешь что, — сказал швейцар, — проваливай-ка ты по добру по здорову со своим важным делом, да больше сюда не показывайся.

Швейцар угрожающе посмотрел на посетителя и надвинулся на него своей огромной раззолоченной тушей. Но старик не испугался ни блеска швейцаро-

вых одежд ни его геркулесова сложения. Он обратил к грозному стражу свое открытое лицо и без тени страха смотрел на него добрыми лучистыми глазами. Это впрочем не произвело на швейцара никакого действия. Он продолжал наступать и уже оттеснил было врага к самой выходной двери, когда на сцене появился редакционный фотограф. Его опытный глаз сразу оценил типаж.

— Пойдите-ка сюда, — сказал он старику. — Август, оставьте его в покое.

Старик спокойно подошел к фотографу.

— Мне нужно редактора, — сказал он, — у меня к нему чрезвычайно важное дело.

— Хорошо, хорошо, — заторопился фотограф, — потом. Сперва мы вас снимем... Понимаете... Для рождественского номера... Эти живописные лохмотья... Эта борода... Эти глаза... Великолепно...

Фотограф схватил старика за рукав и потащил во второй этаж. Старик проворно семенил вслед за фотографом, но, когда они пробегали мимо двери с надписью «Редактор», старик вдруг остановился и, вырвавшись от фотографа, бросился к редакторской двери. Фотограф и глазом моргнуть не успел, как старик был уже по ту сторону двери.

6

Редактор сперва не заметил вторжения. Он был занят с секретарем обсуждением рождественского номера. Старик сел на стул и сказал громко:

— Вы — жулик.

Редактор поднял голову.

— Здравствуйте, — сказал он, ласково кивнув головой.

— Здравствуйте, — еще ласковее кивнул секретарь.

— Вы — жулик, — повторил старик.

— Кто жулик? — заинтересовался редактор. — Я или он? (Редактор кивнил головой в сторону секретаря.)

— Оба, — решительно сказал старик и стряхнул с бороды табачные крошки.

— Какое совпадение! — обрадовался экспансивный секретарь.

— Интересно, — поддержал редактор. — Сколько же мы вам должны? Я уж ей-богу не помню. Ты не помнишь, Людвиг?

— Убей бог, не помню, — отозвался секретарь. — Но это ничего не значит. Мы отдадим все сполна в понедельник.

— Вот, вот! — подхватил редактор.— В понедельник вы получите ваш долг.

— Вы мне ничего не должны, — сказал спокойно старик.

— Да ну? — уже искренно удивились оба журналиста.

— Не может быть? — усумнился секретарь.

— Вы мне ничего не должны, — повторил старик.

— Но в таком случае зачем вы сюда явились?

— Затем, чтобы сказать вам, что вы — жулики.

Редактор нахмурился.

— Для этого вам не стоило себя беспокоить. И потом... собственно говоря с кем я имею честь...

— Бросьте, — перебил редактора старик, — бросьте притворяться. Вы же меня отлично знаете.

— Я? — удивился редактор и вопросительно поглядел на секретаря.

— Что-то мне ваше лицо напоминает, — сказал секретарь. — Вы не были на прошлой неделе на скачках?

Старик нахмурился.

— Экая у вас память короткая! Пятьдесят три года знакомы, а все упомнить не можете.

— Позвольте, — сказал обиженно редактор, — мне всего сорок два.

— А мне тридцать четыре, — поддержал секретарь.

Старик махнул рукой.

— Экие кретины! Ну посмотрите на мое честное открытое лицо, посмотрите на эти добрые глаза. Посмотрите на эти живописные лохмотья. Вспомните ваши ежегодные рождественские номера.

Редактор и секретарь тупо глядели перед собой. Тогда старик высморкался, медленно разгладил бороду и скромно сказал:

— Я — мальчик под елкой.

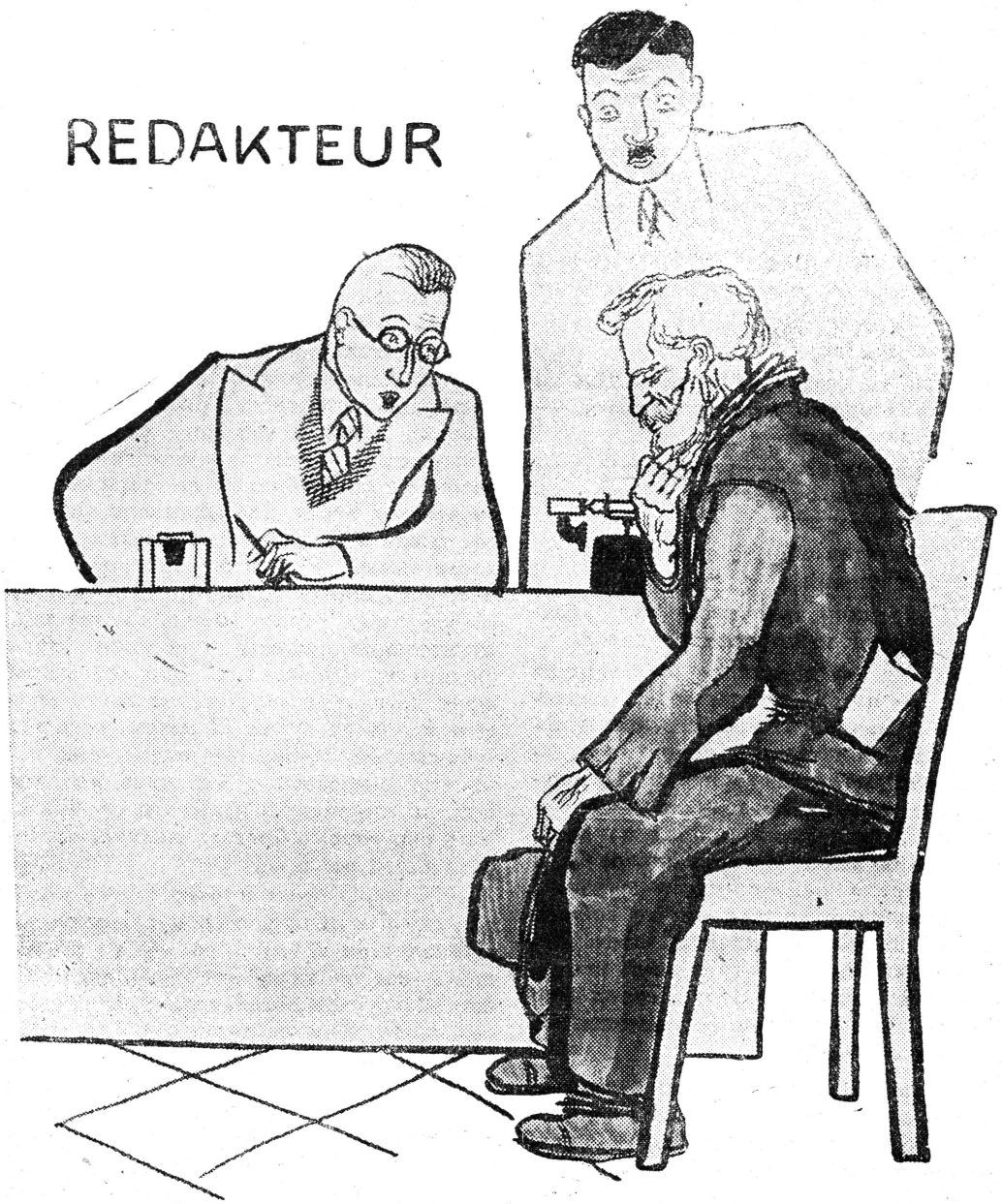
— Ну? — выпучился редактор и протянул руку к телефонной трубке.

Старик поднялся с места и отнял у него трубку.

— Бросьте, — сказал он, — я не сумасшедший, и не к чему беспокоить

телефонистку. Она не виновата, что редактор популярнейшего еженедельника — такой идиот. Садитесь и слушайте. Итак, начнем от Адама. Ваш почтенный еженедельник существует пятьдесят три года. В первый же год редактору и издателю его, господину Кюнцелю, пришла в голову блестящая идея. Давая в рождественском номере традиционный рассказ о замерзшем под елкой мальчике, он иллюстрировал его не рисунком, а фотографией. Это был снимок с действительно существующего мальчика. Тут же давался его адрес и печаталось обращение к добрым людям с призывом сделать его счастливым хотя бы на один-единственный день в году. Конечно журнал устраивал так, что добрый человек находился, и в следующем номере описывался день, про-

— Я — мальчик под елкой



веденный мальчиком на елке в лоне счастливого семейства. Каждый год добрые покровители и мальчики сменялись, но принцип оставался. Единственное требование, которое предъявлялось к мальчику под елкой, это — благообразная внешность. Он не должен был иметь отталкивающего вида. Открытое лицо, добрые глаза, хорошие волосы и живописная нищенская одежда — вот что требовал ваш добродетельный еженедельник. Я был именно таким. И я стал первым вашим мальчиком под елкой. Это было ровно пятьдесят три года назад.

Старик оборвал на минуту свое повествование и задумался. Редактор с любопытством разглядывал посетителя. Секретарь незаметно нажал кнопку электрического звонка, ведущего в фотолабораторию.

— Ну-с, — сказал наконец редактор, — чего же вы все-таки хотите от нас?

Старик вздохнул.

— Вот, — сказал он, вынимая из-за пазухи сложенную вчетверо бумагу, — вот вам резолюция.

— Резолюция? — удивился секретарь, принимая от старика бумагу. — Что за резолюция?

— Резолюция общего собрания мальчиков под елками.

— Собрание мальчиков под елками?.. — ошалело спросил редактор.

— Ну да, — досадливо поморщился старик, — пятьдесят три года, пятьдесят три мальчика. Я был первым, и потому в конце концов я вероятно раньше других потерял терпение. Пятьдесят три года вы сюсюкали, лгали, паясничали, подличали. Я собрал их всех. Это было не легко, хотя их адреса были в свое время напечатаны в журнале. Я гонялся за ними, как гончая собака. В конце концов я нашел их след. Недостает из пятидесяти трех лишь двоих, да девять умерло... Итого сорок две подписи. Что касается содержания, то извольте прочесть.

Секретарь поднес к глазам бумагу и, опустив ее, с опаской поглядел на старика. Тогда старик подошел к секретарю, взял у него из рук бумагу и, став против редакторского стола, внятно прочел:

«Мы, сошедшиеся на общее собрание мальчиков под елками еженедельника «Милый друг», постановили после обсуждения следующее: Поскольку наша литература на всем земном шаре знает этот образ мальчика под елкой, поскольку мы являемся, благодаря коммерческой идее издателя Кюнцеля, единственными живыми, реальными воплощениями этого литературного образа, мы считаем себя в праве во-первых — соединить в своем лице как практические интересы, так и литературные идеи, во-вторых — считаем, что мы представляем всех в мире мальчиков под елками, и говорим от их лица.

«Мы считаем, что образчик этого рода творчества является самым отвратительным, самым ханжеским и самым подлым из всех существующих. Обрекая на голод, нищету и вырождение миллионы людей, грабя их, разоряя, насилуя, эксплоатируя, — эти господа вдруг в воскресных еженедельниках начинают лить слезы над бедным замерзающим мальчиком под елкой. Это — гадкое, мелочное и в то же время чудовищное лицемерие. Три миллиона китайских детей в возрасте от пяти до четырнадцати лет работают в адских условиях на фабриках по четырнадцати часов в сутки, два миллиона восемьсот тысяч в Соединенных штатах. Пятьдесят тысяч детей в Берлине не могут посещать школу только потому, что не имеют сапог. Такова жизнь. Таково действительное положение сегодня. Дети вымирают миллионами. Эксплоататоры жрут детское мясо. Детские кости хрустят у них на зубах. И потом, ковыряя зубочисткой загнившие десны, они начинают сюсюкать о мальчике под елкой, и лицемерно вздыхать, и возводить очи горе, и бросать жалкие, оскорбительные подачки.

«Мы протестуем против такого положения. Мы обращаемся к писателям и журналистам всего мира: — не продавайте своего пера этим негодяям, не способствуйте ничем страшному издевательскому делу, не пишите о мальчиках под елками, — все это подлая, унизительная ложь, ханжество, обман и в лучшем случае самообман. Мы призываем детские организации всех стран поднять свой протестующий голос против этого лицемерия, обратить рождественские дни в кампанию разоблаче-

ния легенды о мальчике под елкой, разоблачения всяческой лжи, борьбы за уничтожение детского труда, за лучшее будущее детей. Долой ложь! Долой издевательское сюсюканье! Отдайте нам то, что нам следует, и не надо ваших подачек».

— Дальше следует сорок две подписи. После каждой из них приписка — «безработный». Семь подписей не имеют этой приписки. Это счастливцы. В конце — отдельный список из девяти фамилий. Перед каждой поставлен крест. Тут же разъясняющие подписи:

«Пауль Бекман — умер от истощения.

«Ганс Вейнарт — избитый полицейскими, умер в общественном госпитале.

«Людвиг Бем — убит под Верденом.

«Макс Юлиус — оторвало голову в окопе.

«Пауль Рамер — в виду крайней нужды перерезал себе бритвой горло.

«Август Шлих — убит в стычке с полицейскими во время демонстрации безработных.

«Эрнст Гернрот — тоже.

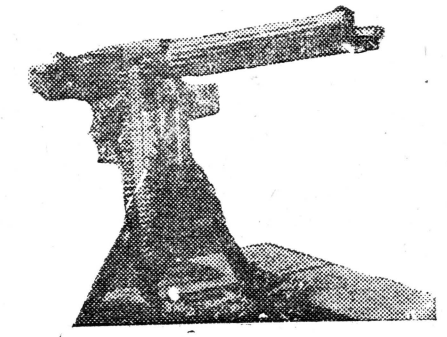
«Фриц Менлихер — умер от истощения.

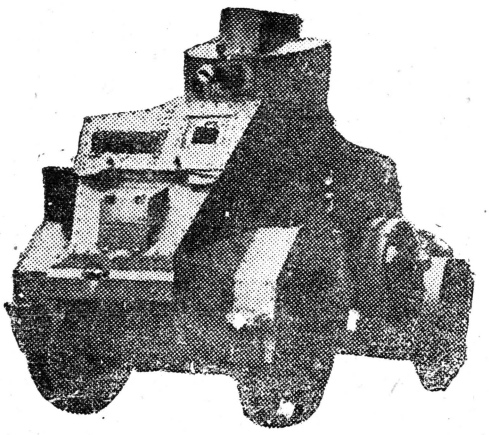
«Эрик Пютше — расстрелян за антивоенную пропаганду на фронте».

Так умирает мальчик под елкой.

РАЗГОВАРИВАЮТ ЦИФРЫ

Н. Константинов





«Франция уже разоружилась», — сказал Эррио.

Доказательства?

Цифры:

В 1914 году во французской армии было —

674 000 солдат,

а в 1932 году —

578 000 солдат,

на 96 тысяч меньше.

Эти цифры верны, но требуют проверки:

В 1914 году у Франции не было ни одного танка, а сейчас — полторы тысячи. В 1914 году у Франции было 1300 пулеметов, а сейчас в тридцать раз больше. В технических войсках сейчас в полтора раза больше солдат, чем было в 1914 году. В пятнадцать раз больше аэропланов. В целом —

578 тысяч солдат вооружены сейчас в десятки раз лучше, чем 674 тысячи солдат в 1914 году.

Так «разоружилась» Франция.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Леонид Грабарь

рисунки А. Минчиковского

Безработица создала за границей огромные кадры нищенствующих инженеров, юристов, докторов. Об этой деградации культурного развития в капиталистических странах, о невозможности для молодых специалистов использовать знания, полученные в высшей школе, даже для детей наиболее обеспеченных людей Америки, — об этом рассказывает печатаемый нами отрывок из пьесы Леонида Грабаря „Большой поккер", идущей в Ленинградском драме.

Главное действующее лицо пьесы, молодой врач мечтает не о науке, не о применении своих знаний на практике, а о том, чтобы сделать себе карьеру на какой-нибудь грандиозной авантюре, которая дала бы ему деньги. Такой „блеф" он находит в использовании трупов знаменитых людей, которые скупает акционерное общество, основанное ученым Уэллом. Это общество на торговле пеплом, оставшимся от сожженных трупов, в пораженной кризисом Америке создает новую отрасль производства изящных урн с пеплом умерших. Пьеса Грабаря дает таким образом картину загнивания и тупика, в который зашло капиталистическое производство.

Пролог из трагифарса «Большой Поккер».

Маленькая, бедно обставленная комната-мастерская в 15-м этаже нью-иоркского небоскреба. Две кровати, рабочий препаровочный стол, стол письменный. Скелет. Книги. На стенах и по углам— чучела: кошки, собаки, попугаи. При поднятии занавеса на сцене двое — Джим Уэлл, работающий над птичьим чучелом, и Джон Сваджон, зубрящий за письменным столом).

Джон (читает). Диагноз ахилии можно легко поставить на основании точного исследования желудочного содержимого. Конечно, диагноз может быть поставлен с уверенностью только тогда, когда тщательные исследования, повторно произведенные в различное время и при различных обстоятельствах, постоянно дают тот же отрицательный результат. (Прикрыл книгу.) Диагноз ахилии можно легко поставить... И все-таки — вы счастливец, Джим. Вы слышите меня, Джим? Я говорю — вы счастливец.

Джим (работает). Угу. Что такое?

Джон. Я говорю, что вы счастливец. Вы ведь сдали уже государственные экзамены!

Джим. Что из этого? Мой отец все равно не назначит мне ренты. Впрочем я и сам не взял бы у него ни цента, Джон. Я согласен с моим стариком: наш общественный строй дает возможность каждому, у кого мало-мальски светлая голова, выбиться в люди. И мы, Уэллы, должны выбиваться самостоятельно. И я выбьюсь, Джон Сваджон. Слышите? Я выбьюсь. Подайте мой клей.

Джон (подает ему с полки банку с клеем). Я верю вам, Джим. У вас действительно светлая голова. Я никогда не забуду, с каким блеском на последнем публичном экзамене вы пришли к вашему диагнозу. Вы помните, Джим? (Мечтательно) Тромбоз подключичной артерии... Боже мой, определить тромбоз подключичной артерии, предсказать смерть через несколько часов и, когда предсказание ваше исполнилось, получить на вскрытии подтверждение вашей прозорливости! Боже мой, да могу ли я мечтать об этом? Вы слышите меня, Джим?

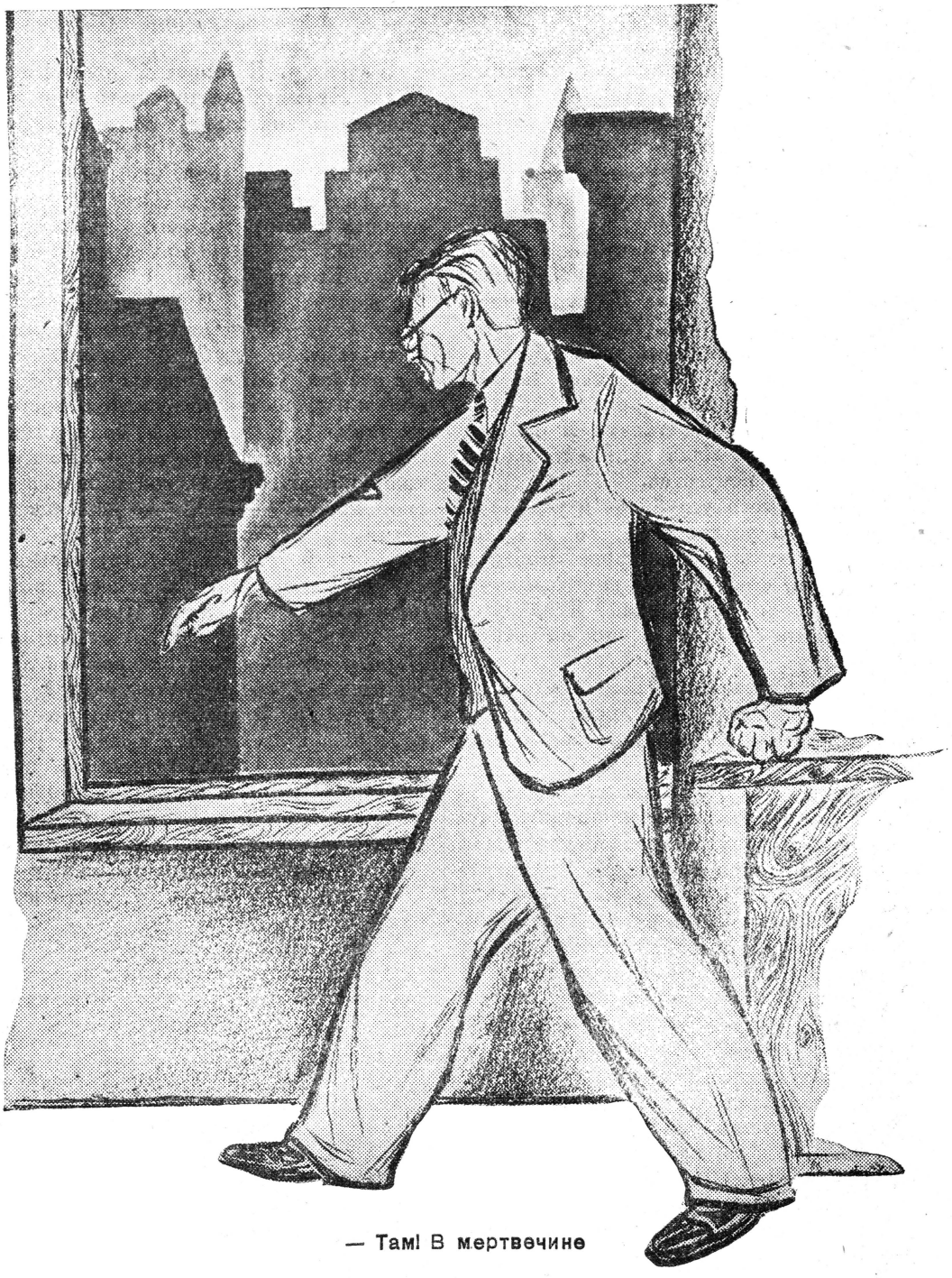
Джим. Угу. Подайте мне проволоку номер три.

Джон (подает моток проволоки).

Джим. Номер три, я сказал, м-р Сваджон, номер три. Нужно быть внимательнее, если берете деньги за работу в качестве моего подмастерья.

Джон (подает ему другой моток). Простите меня, патрон. (Пауза.) Снова прежним тоном) Или вот эта наша мастерская, ваша мастерская... Вы слышите меня, Джим? Ну кто из наших студентов, кроме вас, Джим, мог бы придумать этот способ зарабатывать?

Джим. 100 долларов в неделю. Из них 25 я плачу вам и 25 обходятся материалы. Это вы называете заработком? У вас дешевый вкус, Джон, и потребности кули.



— Там! В мертвечине

Джон. Но зато это честный труд, Джим. И кроме того — ведь вы самостоятельны, благодаря этим чучелам вы независимы от отца.

Джим. Очень большое удовольствие—применять свое мастерство препаратора для набивки трехсотлетних попугаев мисс Анны Гравелот или любимой кошки миссис Пульман.

Джон. Но этот заказ... (указывает на чучело, над которым работает Джим).

Джим (смеется, передразнивает кого-то басом). Не могли бы вы, м-р Уэлл, изготовить чучело птицы ростом с пингвина и с оперением колибри?..

Джон. Сознайтесь, что этот заказ...

Джим. Несколько эксцентричен? Согласен. Но знаете, Джон, о чем я думаю все время? Для чего ему... Подайте-ка мне подставку.

Джон (подходит к окну, берет с подоконника подставку). А в морг опять привезли пару трупов. На грузовике. Прикрыты брезентом. (Передает Уэллу подставку.) Вы слышите меня, Джим?

Джим. Угу... Очередные жертвы уличного движения вероятно. (Укрепляет чучело на подставке.) Я работал над ним неделю. Клянусь, это не плохо. Это — почти искусство.

Джон (снова углубился в учебник). Если ахилия установлена, то остается решить следующий вопрос: представляется ли она только симптоматической или же эссенциальной? Исключить хронический гастрит можно по отсутствию...

Джим. Слушайте, Джон! А что если предложить конгрессу и всей Америке очередной способ восстановления благоденствия?

Джон. Я не понимаю вас, Уэлл.

Джим. Я предлагаю: установить имущественный ценз на право пользования услугами врача и больницы. Я предлагаю... ну, скажем — тысяча долларов в месяц. Зачем лечить нищих? Пусть умирают без помощи нашей науки.

Джон. Как вам не стыдно, Джим?

Джим. Я шучу, конечно. Но, право, эта мера избавила бы страну от доброго миллиона дармоедов, нарушающих порядок на улицах. Я шучу, конечно.

Джон. Вы нехорошо шутите, Джим. Вы слышите меня? Стыдно шутить так...

Джим. Уж не записались ли вы в союз христианских молодых людей? Или может быть вы стали подписчиком «Дейли уоркер»? (Стук в дверь.) Алло. Войдите.

Паркер (входит). Добрый день, джентльмены. Готово ли мое чучело, то-есть чучело, которое я вам заказал? (Ржет, весьма довольный своей остротой.)

Джим. Почти готово, мистер Паркер. Если позволите, я закреплю только хвост. Джон, подержите препарат.

Джон. Есть, патрон! (Подходит к Уэллу, держит чучело.)

Паркер. Я простой человек, м-р Уэлл. Не могу не признать, что ваша работа замечательна! Ее все заметят! (Ржет.)

Джим. Благодарю вас, м-р Паркер.

Паркер. Сегодня тоже вторник. Я пришел к вам впервые тоже во вторник, м-р Уэлл. Это было ровно неделю тому назад. Вторник — легкий день для меня, джентльмены. И вот сегодня — я у цели. Я цел и у цели! (Ржет.) Помните, джентльмены, как я спросил вас: «М-р Уэлл! Можете ли вы изготовить в недельный срок чучело птицы ростом с пингвина и с окраской колибри?» — Ол райт! — ответили вы: — мне нужна только пингвинья шкура и перья райской птицы! — В тот же день вы принесли из зоологического парка тушу пингвина и целую наволочку перьев колибри. Во вторник же вечером вы начали работу, м-р Уэлл! Помните?

Джон. Есть, патрон! А скажите, м-р Паркер, простите за нескромное любопытство... Зачем вам это чучело?

Паркер. Э, видите ли... это так... пустяки... причудливая причуда (ржет) моего дядюшки. Он, видите ли, поставил непременным условием, чтобы его наследник подарил ему такое чучело! (Ржет.) Я хочу быть его наследником.

Джон. Причина вполне достаточная.

Джим. Чего нельзя сказать о вашем любопытстве, Джон.

Джон. Виноват, патрон...

Паркер. Не конфузьте вашего помощника, м-р Уэлл! Его любознательность вполне извинительна и объяснима.

Джим (закончил свою работу). Готово, сэр.

Паркер (осматривая чучело). Очень, очень мило. В милашку можно влюбиться! (Ржет.)

Джон. Позволите запаковать?

Паркер. Пожалуйста. Только поосторожнее.

Джим (моет руки у умывальника). Джон, запакуйте, только поосторожнее.

Джон. Есть, патрон! (Упаковывает чучело в ящик).

Паркер (осматриваясь). У вас очень мило, м-р Уэлл. Только... Зачем вам столько книг? (Заметив скелет) И это...

РАЗГОВАРИВАЮТ ЦИФРЫ

Сейчас на земном шаре живет — 2 012 800 000 человек.

За прошлый год родился 21 миллион новых граждан земного шара — население целой страны величиной с третью часть Германии или с три Бельгии. В одной Европе родилось за год 8 миллионов человек.

Но в Азии —

за тот же самый год прибавилось населения немногим больше. Азия почти в пять раз больше Европы, но прирост населения в ней в четыре раза слабее, чем в Европе, потому что три четверти азиатских народов живут под колониальным гнетом. Да и то прирост населения получается, если взять всю Азию, а не по отдельным странам.

Китайские генералы выгнали на войну всех взрослых мужчин, обрекли страну на голод и нищету, взяли с крестьян налоги за десять-двадцать лет вперед. Поэтому в Китае, самом большом, самом населенном азиатском государстве, за один год убавилось *6 000 000* человек.

В Африке —

за тот же год убавилось *2 000 000* человек.

Они погибли на постройке железных дорог, куда рабочих-негров гонят под конвоем. «На каждую шпалу — негр» — ходит в Африке пословица. Не вынесли работы в рудниках и на плантациях. Были проданы в рабство. Были замучены европейцами сборщиками налогов, которые пишут о своих экспедиревни, ужасные места пыток, исчезают целиком в этом стонущем крае. Тысячи болезней следуют за нами»... Бежали, спасаясь от цивилизаторов, в гнилые болотные дебри и там умерли от лихоциях: «мы потеряли счет мертвым. Деградки. Вымерли от сонной болезни, которая все разрастается в Африке и от которой никто не лечит.

6 000 000 + 2 000 000 — цифры против капитализма.

Джим. Мы не только чучельники, сэр. Мы кроме того — студенты.

Джон. А м-р Уэлл, сэр, даже уже врач. Он сдал уже государственные экзамены.

Паркер. О, студенты!.. Это очень хорошо! А скажите, м-р Иеремия Уэлл, король каучука, не родственник ваш?

Джим. Это мой отец.

Паркер. О, почему же тогда вы занимаетесь вашим ремеслом? (Ржет.) Я понимаю, когда врачи и инженеры служат у нас шоферами или грузчиками. Ничего не поделаешь — московский демпинг плюс кризис. Но они же — из нищих. А вы?

Джон. М-р Уэлл считает, что американец должен сам пробивать себе дорогу в жизни и зарабатывать самостоятельно...

Паркер. О! Это весьма почтенное, хотя и странное мнение. Тут есть какая-то философия. Это не по моей части! (Ржет.)

Джон (передает ему запакованный ящик). Готово, сэр!

Паркер. Отлично. Ваш гонорар, м-р Уэлл. (Лезет в бумажник, достает деньги.)

Джим. Сто долларов, сэр. За вычетом аванса — пятьдесят. (Принимает деньги). Благодарю вас.

Паркер. Джентльмены! (Прощальное приветствие. Идет к двери и там сталкивается с Мэри.) Тысяча извинений, мисс! (Уходит.)

Мэри (оценивающе осмотрев Паркера). Вульгарен, но недурен. Здравствуйте, мальчики. Сколько он стоит?

Джим. Здравствуй, кузиночка.

Джон. Здравствуйте, мисс Мэри. Вы спрашиваете, сколько стоит Паркер?

Джон. Да. К сожалению, я не знаю, сколько стоит Паркер, но за чучело, которое он только что унес, он заплатил сто долларов.

Мэри. Ах, значит его фамилия Паркер?

Мэри. Фуй, Джим, как не стыдно! Оказывается, вы продолжаете заниматься этой ерундой? Даже получив диплом?

Джим. Что делать, кузиночка? На моих дверях уже третью неделю висит

— Смотрите на восьмой странице!

медная дощечка, указывающая часы приема доктора Уэлла...

Мэри. И?..

Джим. И к моей помощи обращались два раза — на прошлой неделе, чтобы узнать адрес профессора Хэйлью, и позавчера — наш истопник привел меня к своей девочке для интубации. У бедняжки дифтерия. В обоих случаях гонорар равнялся нулю.

Мэри. Вам нужна реклама, Джим. Большая вывеска у подъезда, статьи в прессе, описание вашего диссертационного диагноза в «Нью-Йоркском геральде». Красочный портрет в воскресном приложении.

Джим. У меня нет денег на рекламу, Мэри.

Джон. И кроме того — врачу непристойно пользоваться рекламой. Не правда ли, Джим?

Мэри. Какие глупости! У вас нет денег? А дядя?

Джим. Я десять раз говорил вам, что не возьму у отца ни копейки.

Мэри. Упрямый мальчишка!

Джон. Я преклоняюсь перед вашей твердостью, Уэлл! Вы слышите меня, Джим?

Джим. Угу. Слышу.

Мэри. Упрямый мальчишка! И он думает, что я стану женой чучельника! Ну, Джим, ну, милый... Будьте хорошим... Пойдите к вашему папе и... (Шепчет ему на ухо.)

Джон (деликатно уткнувшись в книгу). Предположение о раке также часто может быть отвергнуто по общему характеру болезни и по отсутствию опухоли. Хотя именно эти случаи с атрофией слизистой оболочки и с сильным общим истощением могут представить в этом отношении большие затруднения. В общем же процесс атрофии...

Джим (вскакивает, вырываясь от обнявшей его Мэри). Нет, нет! Трижды нет! У меня чертовское самолюбие.

Мэри. Себялюбие, гадкий мальчишка!

Джим. Как вам будет угодно.

Мэри. Ах, так? Ну, хорошо же! Тогда зарубите себе на носу: не смейте и заикаться о нашей свадьбе, пока вы не будете знаменитым врачом, пока у вас не будет своей практики!

Джон. Признаки ясного сужения всегда говорят за наличие рака. Если наконец представляется возможным...

Мэри (захлопывает у него книгу и швыряет ее под кровать). Перестаньте бубнить, Сваджон!

Джон (растерянно). У меня же государственные экзамены, мисс Мэри!

Мэри. Наплевать мне на ваши государственные экзамены. У меня срывается свадьба. (Джон лезет под кровать за книгой.) Не смейте прятаться под кроватью! Извольте слушать, когда с вами разговаривает лэди. (Джон вылезает обратно.) Вы посмотрите лучше на этого... (уничтожающе) на этого... человека! Он видимо воображает, что мы живем не в Штатах! Что у нас можно стать знаменитостью и настоящим человеком при помощи своего труда, а не папиной мошной! Поезжайте в Россию, милый.

Джим (видимо она задела его больное место). В Россию! В Россию! Вы все оглушены трескотней о России! Вы, сами того не понимая, превращаетесь в агентов Сталина! Ах, у нас кризис! Ах, у нас безработица! Ах, у них пятилетка! Ах, у них нехватка рабочих рук! Глупости. Ложь. Клевета на наш самый свободный в мире строй! Нужна только светлая голова, мало-мальски светлая голова, чтобы создать бизнес, дело, которое займет тысячи, сотни тысяч, миллионы людей. Нужно уметь думать, уметь работать и уметь находить—так, как я нашел свое ремесло чучельника. Машины, инженерия, электричество, Форд — чепуха. Это — враги человечества. Машины освобождают человеческий труд? Ложь! Они освобождают от работы все новые и новые толпы безработных, лодырей, дармоедов. Эпоха нового просперити, нового благоденствия не будет связана с машиной. Она будет зависеть только от человека, только от светлой его головы, от великого его и свободного духа.

Джон (нерешительно). Да, но в России...

Джим. Далась же вам эта чортова страна бородатых готтентотов! Готтентотов, слышите вы? Потому что они — готтентоты, потому что они стоят на низших ступенях человеческой культуры — только поэтому кажется, что машина им друг, а не враг. Они не поднялись еще до той высоты, когда машина, инженерия становится проклятием! А впрочем — о чем говорить с вами!..

Мэри. Джим, милый Джим, я обожаю вас, когда вы говорите! Эти сверкающие глаза, этот звенящий голос! Я готова на все ради вас.

Джим. Мэри, неужели правда?

Мэри. Да, пока вы говорите, Джим. Но сразу, как только вы умолкаете — я вспоминаю о чучелах... Фуй!

Джон. Да, да... А не пора ли спуститься за вечерней газетой? Сегодня должен быть отчет о Линче в Вифлееме... Пожалуй, пойду!.. (Помявшись, уходит.)

Мэри. Джим, милый, хороший Джим... Ну, пожалуйста...

Джим. Нет.

Мэри. Ну, неужели же вам будет приятно, если ваша Мэри станет женой чучельника? Ну, посмотрите на меня, не будьте букой.

Джим. Все равно — нет.

Мэри. Ну, разве я гожусь для роли жены чучельника? Неужели вам нужно... что-нибудь кривобокое... косолапое... вот такое (показывает, ковыляя через сцену). Мэри Стаутон — жена чучельника! Мэри Стаутон будет закупать солому и вату для своего супруга!.. Неужели вы этого хотите? Джим! Ну же, Джим!

Джим. Все равно — я не пойду к отцу.

Мэри (меняя тон). А я не пойду за чучельника.

Джим. Нет, не будь я Джим Уэлл, если я не найду свой честный бизнес!

Мэри. Вы — болтун, Джим. (Стук в дверь.)

Джон (входит с газетой). Вы уже помирились? Я очень рад. Послушайте, Джим, а в «Герольде» есть кое-что поинтереснее вифлеемских негров. Вы слушаете меня, Джим?

Джим. Что такое?

Джон. Линч не состоялся: полиция почему-то не допустила. Но зато наш пострел уже поспел! Смотрите, на восьмой странице! (Кидает газету.) Ну-с, мисс Мэри, не правда ли, вы сознались в своей ошибке, в своей несправедливости?

Мэри. Да, созналась.

Джон. И вы согласны теперь, что стать женой такого чучельника, как Джим Уэлл, вовсе уж не большое несчастье?

Мэри. Нет, не согласна.

Джим (просматривая газету). Что такое! Какая подлость!

Джон. Как вам не стыдно, мисс Мэри! Зачем вы его дразните?

Джим. Послушайте, Джон, да что же это такое? Как он смел! Как могли напечатать такую ложь, заведомую ложь!

Джон. Ах, вы вот о чем! (Пожимает плечами.) Ничего особенного. Современный бизнес.

Джим. Это блеф, а не бизнес. Это мелкое жульничество просто! Я этого так не оставлю.

Мэри. Да в чем дело?

Джим (передает ей газету). Читайте!

Мэри. Где?

Джим. Вот тут под портретом.

Мэри. Ба, да это... Паркер!

Джон. Он самый.

Мэри (читает). «Наша великая и свободная страна попрежнему рождает героев... Неустрашимый и образованнейший в мире естествоиспытатель мистер Авраам Паркер... он является вторым Стенли... с громадной опасностью для здоровья и жизни...»

Джим. Негодяй!

Мэри. «Исследуя неизвестные доселе плато центральной Африки и изучая их флору и фауну, мистер Паркер открыл...»

Джим. Вот именно «открыл», за сто долларов...

Мэри. «...открыл неизвестный науке вид птиц ростом с пигвина и с опереним колибри».

Джим. Вот именно. Я истратил целую подушку перьев райской птицы. О, какой подлец!

Мэри. Ничего не понимаю! (продолжает читать). «Экземпляр этой хищной и чрезвычайно опасной породы, бесстрашно нападающей на человека и одним ударом клюва валящей быка с ног, мистеру Паркеру удалось поймать. К сожалению, чудовище не выдержало океанского путешествия и в дороге издохло. Чучело пингвинус лео африканус Паркери (так назвал наш ученый эту породу) сегодня представлено Академии наук, и таким образом м-р Паркер яв-

ляется бесспорным кандидатом на получение рокфеллеровской премии за открытие в области зоологии в размере одного миллиона долларов...» (С недоумением) И фотография этой самой птицы в красках тут же... В чем дело? Ничего не понимаю!

Джон. Да чего же здесь понимать? Ведь чучело сделал Паркеру Джим.

Мэри. Ну, и что же? Кто-нибудь должен же был его приготовить?

Джон. О, господи! Да ведь шкуру-то пингвина сам Джим достал!

Джим. Из зоологического парка... Угу. Какой негодяй!

Джон. И перья колибри оттуда же!

Мэри. Значит никакого этого, как его, трихекус размаринус... (Хохочет.) Какой блеф! Какой гениальный блеф! За это стоит заплатить миллион!

Джим. Он получает миллион, а я, я, сделавший это чучело — сто долларов? Нет, этого я так не оставлю!

Джон. Э, бросьте, Уэлл. Ну, что вы можете сделать?

Джим. Я... я напишу правду... я пошлю опровержение.

Мэри. Кто его напечатает? Ведь мы в Америке, мой мальчик! А если и напечатают, то только для того, чтобы еще больше прославить достопочтенного Паркера, чтобы объявить вас сумасшедшим, клеветником. Ведь опровержение стоит денег, милый.

Джим. Блеф... Кругом блеф... Я врач — и должен зарабатывать себе кусок хлеба чучелами. Блеф! Я трудился неделю, а кто-то приходит и за мой труд получает миллион... Блеф... Все блеф...

Мэри. Ну да, мой милый. Я же говорю вам, идите к дяде.

Джим. Не пой-ду! Я лучше сам найду свой блеф! Я должен его найти! Я найду его! У меня тоже будут миллионы! И вот тогда я весь отдамся моей науке!

Мэри. Я не могу, обожаю этого мальчишку!

Джон (у окна). Плюньте, Джим. Берегите свое здоровье. Лучше идите-ка сюда, поглядите — вон снова в морг привезли полдюжинки мертвецов.

Джим (медленно идет к окну). Только где найти его, этот мой великий блеф?

Джон (смотрит в окно). Странно, как это допускают пропадать такому количеству добра — кожа, кости, жир. Каждый день я наблюдаю — сюда привозят не меньше двух десятков покойников. В наш практический век...

Джим. Нашел! Ура! Нашел! Есть!

Мэри. Что такое?

Джим. Нашел! Мой великий, гениальный блеф! Я нашел его! О, что такое Паркер! Щенок! Я куплю его со всеми потрохами. Я жестоко отомщу ему! Я нашел! Я нашел мой блеф!

Мэри. Да где же он?

Джим (показывает на окно). Там. В мертвечине!

Занавес.

РАЗГОВАРИВАЮТ ЦИФРЫ

Мы построили Турксиб —
1440 километров.
В два с половиной года.

В среднем прокладывали в день полтора километра рельсов.

Но бывали дни, когда прокладывали два с половиной километра рельсов,— так строят американцы. Бывали дни, когда прокладывали три с половиной километра, — так строят большевики.

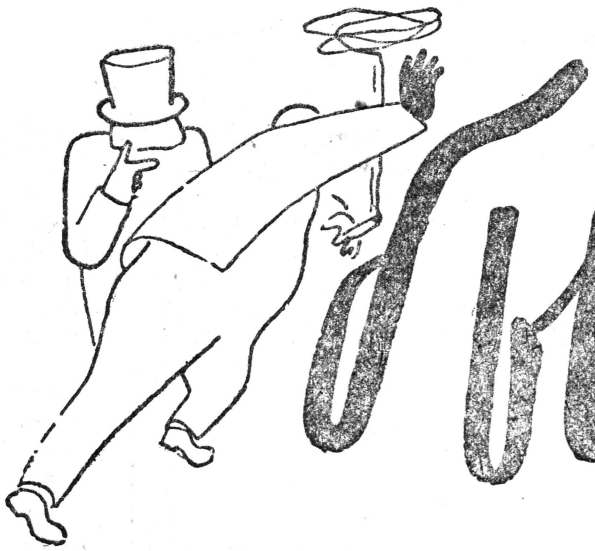
В Африке французские капиталисты строят свою железную дорогу Конго—Океан.

Дорога небольшая — 550 километров, но ее строят уже 12 лет, с 1921 года. В среднем по 700 метров в день.

Но бывали дни, когда строили еще медленнее. Первый туннель длиной в 132 метра рыли 3 года — по 12 сантиметров в день.

Негры стояли перед скалой на коленях и долбили камень мотыгами. Острые осколки сыпались в лицо, в грудь, в глаза. Плечи у негров были в ранах и ссадинах, с ладоней была содрана кожа. Около ходил француз-инженер и курил папиросу.

Машин на дороге Конго—Океан нет. Она строится голыми руками негров, согнанных на работу насилием и обманом.



Юрий Герман

Бык[1]

рисунки
н. муратова

Большой желтый ноготь взрезает бандероль. Шванинг щурится и смотрит внутрь коробки. Тонкая, скользкая папиросная бумага, потом фольга и наконец папиросы. Они лежат белые и чистые, крепко прижавшись друг к другу. Раньше чем закурить Шванинг прочитывает до конца маленькое воззвание, в котором сообщается, что папиросы эти набиты лучшим выдержанным табаком и что покупать следует именно эти, а не другие папиросы, и что фирма позволяет себе надеяться...

Шванингу приятно.

Конечно он привык ко всяким таким рекламным штучкам, но все-таки ему приятно. Очень приятно. Фирма обращается к нему. Те деньги, которые лежат у него в кармане, и в левом ящике комода, и в шкапчике — эти деньги приравнивают его к хорошим покупателям. Фирма заверяет его и позволяет себе надеяться...

Фирма может надеяться!

Папиросы отличные.

Он пойдет и купит себе сразу десять коробок. И продавец засуетится и почтительно переспросит — так ли это, не ошибся ли он, действительно ли десять коробок?

— Десять коробок, — скажет Шванинг, — вы совершенно правы. Десять коробок.

И для того, чтобы продавец не подумал, что Шванинг — лакей, или камердинер, или посыльный, Шванинг скажет — «не заворачивайте» — и рассует коробки по карманам, а одну папиросу закурит тут же в магазине.

Вдруг ему становится обидно: никто не знает, как он живет, что он ест, какие папиросы он курит.

Он все должен скрывать.

Ему могут набить морду.

Ах, сволочи!

Бормоча он ходит по комнате из угла в угол. Ему хочется выпить и пошуметь. Ладно, чорт вас возьми!

— Дядюшка Гудель, а дядюшка Гудель!

Сейчас этот старый пьянчуга прискачет на своем гремучем протезе. Он торгует старыми жилетками и поношенными брюками на Гренадирштрассе в еврейском гетто.

— Добрый вечер, герр Шванинг.

— Добрый вечер, дядюшка Гудель.

Как от него пахнет! Луком, пивом, сырым, прелым тряпьем. И Шванинг накрывает маленький столик салфеткой, отличной, туго накрахмаленной салфеткой с изящной вышивкой по углам.

— Садитесь, дядюшка Гудель.

Дядюшка Гудель садится. Он хлюпает носом и разглаживает встрепаную седую бороденку. Какие у него грязные ногти!

— Выпейте, дядюшка Гудель.

Шванинг наливает абсенту, они чокаются и пьют. Отличный абсент! Он пахнет горькой полынью, анисом, персиком. И Шванинг начинает говорить. Как изумительно говорит Шванинг!

— Да, да, — говорит он. — Да, да, все делают жиды. Жиды виноваты во

[1] «Бык» — на уличном берлинском жаргоне — провокатор, предатель, сыщик.

всем. Вот например... — Шваниг шурится и трясет головой. — Да, да, вы. Вы торгуете штанами на Гренадирштрассе. Жиды втянули вас в свое поганое гетто. Всучили свои грязные штаны и велели — торгуй! И вы торгуете. О боже мой, когда это кончится? Наш доктор Геббельс,[1] — я хожу на его лекции, — он говорит изумительные вещи. Никаких классовых противоречий, понимаете, дядюшка Гудель? Наш немецкий капитал — капитал созидающий. Наш капиталист — всецело в руках жидовского ростовщического финансового капитала. Боже мой...

Шваниг путается. Чорт его разберет в самом деле этого хилого докторишку. Почему жиды? Он чувствует, что ему не выкарабкаться. И он начинает показывать свои вещи. Он говорит о культуре и ни с того ни с сего о третьей империи. — Наша третья империя, — орет он. — Вы понимаете, дядюшка Гудель?..

Дядюшка Гудель пьет абсент, лопает паштет, курит одну за другой дорогие папиросы и молчит, как удавленник. Иногда он хлюпает носом.

— Вот патефон, — говорит Шваниг и запускает «Маленькие ножки»,— этот патефон я купил месяц назад. Хорошая штучка! Не правда ли? А шкап! Смотрите, он имеет три дверцы. Раз. Два. Три. Ловко. Я честно работаю своему хозяину, и он дает мне возможность заработать деньги. Хороший шкап... Мы должны бороться с жидами... Что вы так смотрите на меня? Мы должны делать наше третье царство. Пейте же, дядюшка Гудель. Пейте!

Дядюшка Гудель опрокидывает рюмочку за рюмочкой. Абсент нужно пить маленькими глотками. Но старик дует напропалую. Он уже изрядно пьян. Шваниг тоже не очень-то трезв.

— Я работаю и я имею деньги, — орет он, — я доверяю нашему доктору, и нашему хозяину, и герру Гитлеру. Ну-ка, ответьте мне, что бы было сейчас в Германии, если бы не герр Гитлер?.. Вы молчите?.. Герр Гитлер собрал вокруг себя рабочих и интеллигенцию. Вот что он сделал. И с помощью этих рабочих и этой интеллигенции герр Гитлер отстоял Германию от большевизма...

[1] Д-р Геббельс — берлинский «наместник» Гитлера.

Патефон орет «В осеннем лесу» и «Ну-ка, повеселимся, ребята», дядюшка Гудель сплевывает на пол, а Шваниг говорит.

— Нет, извините, Германии не нужна национализация женщин. Национализировать жен и сестер, дочерей и бабушек! — Он смеется. — С этим мы еще поборемся. Мы еще им покажем. Идиоты! Германский рабочий не торгует своей совестью. И если эти мерзавцы начинают скандалить, то долг каждого честного немца — всеми силами бороться со скандалистами... Не так ли, дядюшка Гудель?

Дядюшка Гудель осовел и сопит, растянувшись в кресле. От него воняет канализацией и мышами. Грязный бродяга. Но Шваниг уже не может остановиться, он — честный немец. В чем дело? Он перечисляет свои подвиги, он рассказывает о своей жизни, он пьян сейчас, и у него оказывается огромное количество всяких добродетелей.

Во-первых — он честен.

Во-вторых — он справедлив.

В-третьих — он принципиален.

В-четвертых — он добр, у него любящее сердце, он отзывчив и мягок.

В-пятых — он...

А его биография!

Кто скажет, что Шваниг мало пережил? Разве не он сражался под Верденом? Разве не он, поняв, чем пахнет Рурский скандал, записался в рейхсвер... Вестфалия... Зоэст — они шли военным маршем и пели песни под весенним солнцем. Чорт возьми, они шли к Дортмунду и здорово веселились по ночам. Девочки любили их за краюху овсяного хлеба или за галету... И какие девочки!

А кто бил из винтовки в Эссене?

Дедушка Гудель наливает еще рюмочку абсента, опрокидывает ее в пасть, лязгает зубами, как собака, поймавшая муху, и, уставившись в пол, потирает пальцами мохнатую скулу. Он молчит...

Что же касается фабрики, то герр директор очень ценит его, Шваниша. И герр директор, и Шваниг, и герр Висслинг — первый помощник директора, и герр Кассель — главный инженер, и герр Бохман — второй помощник... А Клинкорум! И Клинкорум в конце концов понимает, что без Шваниша никаким социал-демократам не обойтись.

РАЗГОВАРИВАЮТ ЦИФРЫ

Мировой рекорд культуры!

62 кило бумаги

приходится на каждого гражданина Северо-американских соединенных штатов.

Почти четыре пуда — вес среднего гражданина.

Куда же уходит столько бумаги?

Американская газета в семь-восемь раз толще нашей, но читать в ней почти нечего. Три четверти страниц — рекламы, три четверти реклам — надувательство. А по воскресеньям газеты пухнут еще больше — полтораста страниц, двести, двести пятьдесят. Такую газету не спрятать в карман, да и не к чему, — кому нужно хранить рекламы. Газету читают на улице, в трамвае, в вагоне и тут же бросают. К ночи улицы тонут в мятых бумажных волнах. Чтобы избавиться от бумаги, ее жгут — на перекрестках всю ночь пылают костры — ауто-да-фэ рекламы.

4 000 000 тонн газетной бумаги валит Америка в помойку каждый год.

Каждая газета боится, как бы ее не спутали с другими, каждый журнал старается как можно меньше походить на остальные. Что ни издание, то новый формат. У американских журналов — 76 разных форматов по длине, 18 — по ширине. У газет — 55 форматов по длине, 16 — по ширине.

Сотни тысяч кило бумаги пропадают из-за анархии форматов. *100 000 000* долларов переплачивают покупатели газет и журналов из-за разных форматов.

Типографии печатают газеты, бумажные фабрики делают бумагу, поезда везут лес из Канады (своего САСШ давно нехватает), лесорубы валят деревья, — все работают на помойку.

62 кило бумаги в год — это рекорд растраты труда и леса.

Иначе эта страшная зараза забьет все поры фабрики и случится чорт знает что.

— Надо говорит прямо. — И Шванинг хлопает рукой по столу. — Нечего бояться этих слов. Да, да, нечего бояться правды. У нас, на нашей фабрике, работа поставлена по-европейски. У нас поставлена серьезно...

И Шванинг... Этого никогда не произошло бы, если он был трезв... Но он пьян, безнадежно пьян, и он выбалтывает вонючему бродяге, хромому пьянице все тонкости своего ремесла, систему, постановку дела, — он выбалтывает все.

Он говорит о заработке и о своих достоинствах. О девочках и о директоре. О патефоне и о комфорте. Он говорит о том, что он, и Бохман, и Кассель, и Висслинг принадлежат к одной партии. Национал-социалисты, — вот кто они такие, национал-социалисты! Он наливает себе рюмочку и орет, что он возглавляет этих ребят, не дирекцию, конечно, а этих... Дорна, Гюббе, Киссельгофа... Две дюжины ребят целиком подчинены ему. Да, целиком!

Он опять заводит патефон и говорит о девочках и о том, что лучше всех немки — о, немки!

— Ладно. — Дядюшка Гудель сплевывает на пол и идет к дверям, не проронив больше ни одного слова. Он красен, и ему трудно итти, но он не пьян, абсолютно не пьян.

— Куда вы, дядюшка Гудель?

Гудель ушел.

Шванинг сует голову под душ.

Ни черта не помогает.

К вечеру он просыпается, очень долго полощет рот и чистит зубы. Он скребет щеткой язык, плюется и опять полощет. Воскресенье. Он делает себе кофе на газовой плите. Воскресный вечер. Он ждет, стоя у плитки. Кофе готов. Пустым, ржавым голосом бьют часы. Запах немытого тела напоминает ему о хромом госте. Дикие разговоры, дурацкий ликер. Кажется, он наболтал лишнего...

Он затыкает салфетку за воротник.

Хорошо живет немецкий рабочий!

Он режет хлеб и намазывает ломтик маслом.

Он режет сыр.

Хорошо живет немецкий рабочий!

Ноздреватый, желтый сыр со слезой. Чудесные сливки и густой кофе, крепкий кофе, натуральный кофе...

Пажравшись, он музицирует немного.

Хорошо живет немецкий рабочий!

Эх, дядюшка Гудель, старая сволочь!

Может быть ты поленишься?

Может быть ты скажешь: на кой мне чорт?

Он сплевывает в угол и долго смотрит, как ползет плевок по коричневой от сырости стене. В этом углу свален хлам — его торговля. Штаны — вонючие и грязные, протертые пиджаки, паршивые жилеты, сбитые, сношенные башмаки, шарфы, кепи, шляпы — ворох дряни, на которую тошно глядеть.

Он не перестает удивляться: как ее покупают, эту дикую дрянь?

И почему он еще жив?

Почему он, собственно, еще не подох?

На какие деньги он жрет и долго ли человек может голодать?

Инвалид мировой войны — как это здорово звучит!

— Выпейте, дядюшка Гудель!

Осторожно он снимает с рукава вошь и кладет ее под ноготь.

— На! — говорит он, — на! Сдохла!

Около двери в этой же комнате живет старуха-попрошайка. За ширмой — две проститутки. Под окном — учитель естествознания, конечно безработный. Посередине на двух ящиках беззубый и безволосый формовщик.

— Эх, дядюшка Гудель, старая сволочь, инвалид мировой войны, безногий дьявол, торговец вшивым обмундированием, когда ты подохнешь? А?

Дождь.

Он закуривает трубку и долго смотрит на электрическую лампочку.

И ранатой бы об пол.

Чтобы ничего не осталось.

Дождь...

Потом, неистово ругаясь и ворча, он роется в своей куче барахла. Он мечтает о том, чтобы не промокнуть.

— Дай табаку, хромой, — тянет учитель.

Хромой не отвечает. Он натягивает на себя две пары штанов с таким расчетом, чтобы дыры одной пары приходились над целыми местами другой, затем он напяливает на себя фланелевую блузу, пиджак, ватный жилет и брезентажку. Шею он заматывает шарфом, просаленным и заскорузлым, на голову

напяливает шляпу, которая неожиданно оказывается новой.

— Хорош? — спрашивает он у учителя.

— Хорош. Дай табаку.

Дождь.

— Целый Вертхейм,[1] — бормочет хромой, шагая и оглядывая себя. — Веселая жизнь...

Несколько раз он мучительно начинает хотеть выпить, здорово выпить, но он пересиливает себя и шагает мимо витрин. Он даже насвистывает какую-то чепуху. Наплевать!

Подземка.

Он едет и дремлет, и видит себя маленьким, сопливым мальчонкой, играющим в кегли. Ему очень хорошо, и, главное, у него при себе обе ноги и он не торгует никакой дрянью, он — сын честного рабочего.

Фабрика.

Он бывал в этом районе, он знает эту фабрику, — вот ворота, проходная и чугунные буквы:

Алоизий Пфээк и Ко.

Интересно бы повидеть этого Пфээка.

— Чего тебе надо здесь, молодчик?

— Поджидаю одного приятеля. Скоро шабаш?

— Через четыре часа.

Эх, дядюшка Гудель, старый дурак! Понесла тебя нелегкая!

Он ходит около стены и курит свой вонючий табак, и думает о паре хороших, крепких ног, о паре отличных, волосатых ног, ей-богу, они бы очень ему пригодились. И еще он думает о жене, которая умерла десять лет назад, и о старости, которая уже наступила, и о спичках, которые подмокли.

А когда смена пошабашила, он подходит к проходной и долго всматривается в утомленные лица рабочих. Наконец он подзывает к себе молодого парня с тяжелыми глазами и говорит ему:

— Мне нужен коммунист.

— Я — коммунист, — отвечает парень.

Они идут в пивную и заказывают себе два кухеля. Хромой говорит. Парень подпер голову руками. У него красное лицо и здоровенные кулаки.

— Бык? — переспрашивает парень.

— Бык.

— Ладно. А сам ты кто?

— Никто.

— Это все верно, — вслух думает парень. — И Шильде, и Штромберг, и Эргард, — это все верно. Я это еще проверю.

— Я хочу вступить в компартию.

— Ты?

— Я.

Они молча пьют свое пиво.

— Меня зовут Клаус, — говорит парень, вставая. — Можешь притти ко мне домой, если хочешь. Где твоя нога?

— Во Франции.

На собрании ячейки он поставил вопрос о Шванинге, о том, что наци работают у директора в качестве быков и что нигде нельзя сказать ни одного слова, все становится известным Пфээку.

Броер сказал о многотиражке, — ее рвут на части, но очень легко засыпаться: быки залезают всюду. Потом говорил Отто Клаус — парень с древесномассного завода. Он имеет улики, и дело ясное. Заправляет Шванинг.

Зелингер и Штерцер в один голос высказались за «темную», но Эрман лишил их слова.

— Этим мы только нагадим себе, — сказал он. — Нужно быть осторожнее, и — точка...

Они прокурили всю комнату дешевым табаком и разошлись поздней ночью.

— Это вам повредит, — повторил дядюшка Гудель, — это вам повредит...

Он был здорово пьян и смотрел в сторону. Они оба стояли в коридорчике у Отто Клауса.

— Если бы у меня были твои руки и твои ноги, — добавил дядюшка Гудель, — то я бы наклепал ему морду сам. Но у меня паршивые руки и только одна нога. Понял?

— Они могут сыграть на этом деле...

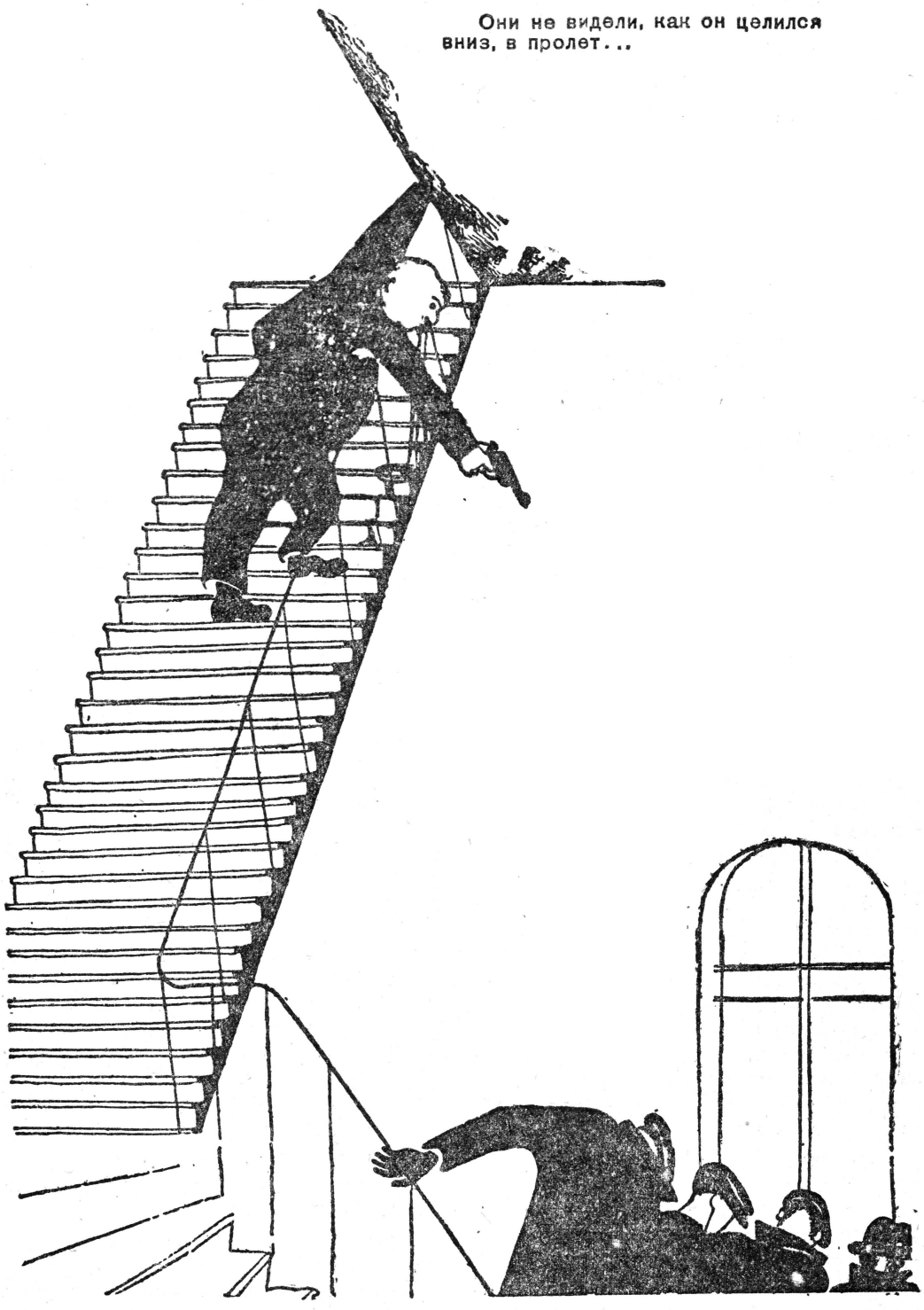
— Конечно могут.

— Представь себе, что дело сорвалось. Парня уволят. Стоит ли из-за этого дерьма голодать?

— А ты боишься?

— Я — нет. — Он поплевал на свои огромные ладони, молча оделся и опять поплевал в кулаки. — Мы придем

[1] Вертхейм — крупнейший универмаг Берлина.



Они не видели, как он целился вниз, в пролет...

прямо к нему домой, — сказал он. — Прямо в его вонючую нору.

В подземке они хохотали оба и тыкали друг друга кулаками в бок.

— Сейчас мы прихватим Зелингера и Штерцера, — говорил Отто: — они отличные ребята. И если мы даже получим выговоры в партбилете, то все-таки мы будем немножко правы. А?

Штерцера они не застали дома, а Зе-

лингер спал, но они его растолкали и повели за собой. Даже на улице он мычал и все не мог проснуться.

Дядюшку Гуделя они поставили у дверей сторожить, и Отто позвонил. Им отворил сам Шванинг, — он только что музицировал и был без пиджака, в сиреневых подтяжках.

— Я что-то вас не узнаю, — сказал он и прищурился (на лестнице было не очень светло). — Право, я вас не узнаю...

Зелингер квакнул по-лягучьи и ударил Шванинга кулаком в подбородок — хороший удар! Он даже не успел закричать. — На! Имеешь за Шильде.

Шванинг свалился у шкапчика, и платяная щетка упала на него.

— Кажется, я испортил ему зуб, — сказал Зелингер и обтер руку о штанину. Ему противно было драться, и он нарочно говорил разные хулиганские фразы, для того чтобы немного подбодрить себя.

— Это тебе за Штромберга. На!

Они еще на лестнице натянули на глаза кепи, чтобы бык не узнал их. Он орал, как зарезанный. Они старались бить его по лицу — на! За сколько ты продал Брунделя?.. На! — Он извивался у их ног и целовал их грязные ботинки. Он был так гнусен и так орал, и так часто вспоминал бога и разных святых, что они не смогли справиться с собой и ушли, даже не раскровянив как следует ему морду. Их трясло от омерзения. Они не закрыли за собой дверь и не видели, как Шванинг поднялся, вытащил из стола револьвер и, подвывая, вылез на площадку лестницы. Они не видели, как он целился вниз, в пролет, и побежали только после второго выстрела, когда у Зелингера онемело бедро.

Им посчастливилось поймать такси тут же у подъезда, и они велели везти себя на квартиру к Отто, но шофер ехал по вызову и довез их только до какого-то глухого переулка в рабочих кварталах Веддинга. Зелингер не мог стоять; стиснув зубы, он бормотал о том, что кость цела, — по всей вероятности кость цела, — говорил он.

Они не могли везти его ни в аптеку ни в больницу, потому что там его бы накрыли зеленые, и Отто заставил их войти за собой в первую же маленькую пивную. Там он заорал во всю глотку на риск:

— Ребята, этого парня сейчас хлопнул наци, — выручай, ребята!

В пивной стало тихо. Много лиц сразу повернулось к ним. Он во второй раз поднял руку и рассек ею воздух.

— Ребята, вы можете сдать нас зеленым или помочь. Одно из двух, товарищи!

Тут сидели рабочие, одни рабочие, — он видел это по лицам, по рукам, по глазам. Он молчал, выжидая, и они молчали.

У них, кажется, происходило собрание, — оратор стоял возле окна, и Отто сразу понял, что это — свой парень. Оратор — слишком простая рожа для чужака. Но, чорт их возьми, почему они молчат?

— Ну же!

И в ту секунду, когда он уже собрался плюнуть и приготовиться к драке, все изменилось.

Сначала он увидел синее сукно. Шупо встал из-за своего стола и шел к нему — спокойный и деловой человек.

И вдруг шупо упал. На ровном месте упал здоровый, крепкий парень.

— Скушали? — спросил чей-то вежливый и осторожный голос. — Мы ему дадим пива и связанному. Правда, Ганс?

Через секунду скрутнули еще двоих ребят. Они пожелали уйти. У дверей стал старичок в синем кителе — очень вежливо он говорил всем входившим, что тут собрание любителей канареечного пения и пивная абонирована на сегодняшний вечер вышеназванными любителями.

Хозяину пивной, во избежание разных мелких и крупных неприятностей, предложили молчать.

Погодя пришлось связать еще кое-кого.

Тут нашелся и бывший фельдшер. Он очистил рану и забинтовал ее запасным фартуком хозяина пивной.

— Ничего, — говорил он, — когда мы будем стрелять в наци, то сумеем сделать это красивее...

Зелингер морщился от боли. Дядюшка Гудель чесал в бороде. Ему было скверно. Он-то уж на своей шкуре знал — что такое остаться без ноги рабочему человеку.

Конечно, Отто объяснил все собравшимся тут ребятам, но, разумеется, не громко. Он рассказал, как они решили набить морду быку, из-за которого по крайней мере дюжина ребят ходит сейчас штемпелеваться, а три человека сидят в тюрьме; он рассказал им, как было противно бить эту сволочь, и как они ушли, и как бык поднял стрельбу.

Оказалось, что они попали на собрание коммунистов и сочувствующих с москательной фабрики.

— Вам подвезло, ребятки, — сказал человек с курчавой бородой и носом, как у филина. — Вы могли здорово вляпаться!

У Отто блестели глаза; он спросил у парня, который во время их прихода говорил речь — дадут им выговор или нет за это дело? Парень пожал плечами и обозвал их сукиными детьми, но потом засмеялся, узнав, что Зелингер беспартийный, а Отто — только год в партии.

Часа через два хозяину предложили одеться и проводить гостей до ближайшей остановки трамвая. Ему также предложили закрыть снаружи пивную вместе со всеми связанными, для того чтобы не было скандала. Втроем — Отто, фельдшер и хромой — они посадили Зелингера в такси. Он должен был приехать домой один. За такси тронулась толпа любителей канареечного пения, во главе с хозяином пивной.

Дядюшка Гудель плелся последним.

Ему было очень тяжело и очень хорошо, и он удивлялся, как два таких противоположных чувства в одно и то же время могут умещаться в человеке.

Тяжело ему было потому, что он до сих пор был одинок.

Хорошо ему было потому, что он шел вместе с любителями канареечного пения, которые вовсе не были любителями канареечного пения.

Ему показалось, что он сейчас умрет.

Он уже давно не стрелял, кроме того они изрядно набили ему морду.

Подвывая, он добрался до передней и здесь свалился на пол, на холодный линолеум. Огромные сверчки с человечьими глазами вылезли из углов. Он потерял сознание.

— О боже мой!

Четверо полицейских перенесли Шванинга на кровать. Большеротый вахмистр держал голову чуть на бок.

— Пульс?

— Сорок два.

— У всех великих людей очень медленный пульс, — сказал вахмистр. — Уверяю вас. Достоверно известно, что Наполеон...

— О боже мой!

Ральф Клинкорум вошел в квартиру вместе с полицейскими. На площадке лестницы уже собрался народ. Ждали врача. Он примчался с шестого этажа, бледный, в шерстяной вытертой пижамке, со стетоскопом в руке. Он спал, его разбудили, он не успел зашнуровать ботинок.

— В чем дело? — спросил он фальцетом.

— Вот.

— О боже мой! — вздыхал Ральф Клинкорум. — О боже мой!

Полицейские призывали публику к порядку. Один из них, рослый детина с печальным носом и бачками кофейного цвета, ходил по комнатам и разглядывал вещи. — «Да, да, — говорил он глубокомысленно, — да, да, я этого и ожидал». Он долго возился с платяной щеткой, валявшейся на полу, и с катушкой для ниток, обнаруженной им между дверями.

— Я запрещаю трогать эти вещи, — сказал он Ральфу, — если вам угодно знать, это немые свидетели... Что?

— Ничего!

— Если бы тут была глинистая почва, то на ней могли бы остаться следы...

— Да, но тут линолеум.

— На линолеуме очень трудно обнаружить следы...

Он был явным дураком, этот шупо с кофейными бачками. Он осмотрел все окна, хоть Шванинг и сказал, что преступники не вошли в квартиру, а дрались в передней. Он спросил, не было ли с преступниками женщины, или ребенка, или баллона для автогенной сварки, или веревочной лестницы?

— При чем тут веревочная лестница?—спросил Шванинг и, застонав, отвернулся к стене.

Они уехали через час, осмотрев предварительно все шкапы, заглянув под кровать и за диван, побывав в уборной.

— Мы сделали свои выводы, — сказал шупо с кофейными бачками, — можете быть уверены, — преступники далеко не скроются. Их было семеро, они хотели вскрыть несгораемый шкап, но ошиблись дверью. Мы знаем этих бандитов...

Доктор заявил, что вызывать скорую помощь — лишнее, прописал примочку, полосканье и ушел. Он был брит, его мокрые глаза смотрели равнодушно, — «а хоть бы ты и умер! — говорил этот взгляд. — Мне наплевать!»

Только после ухода доктора Шванинг заметил Ральфа. Он подал ему руку и улыбнулся, как улыбаются роженицы после удачных родов. Немного устало, немного сконфуженно, немного гордо.

— Какие мерзавцы! — сказал он. — А еще бранят нас за то, что мы нападаем на них. Погодите, я встану и тоже начну ходить по квартирам, наши ребята умеют это делать куда лучше, чем они. Знаете, постучали — «Ганс дома?» Ганс выходит, и Ганса бьют молотком по темени или в висок...

Линкорума передернуло. Он был в сущности мягким человеком. Он никогда не воевал и слушался не только своей жены, но и своей дочери. Он носил старомодное пенсне со шнурочком и мягкие воротнички. Он смахивал на филолога, или на главного приказчика в шляпном магазине, или на провинциального провизора... «Мы, люди интеллекта, — говорил он в особенно патетические минуты, — мы, люди интеллектуального труда...» Чорт его знает, как он очутился в фабкоме. Кажется, в самом деле он имел аптеку где-то в Верхней Силезии, но аптека отошла к Польше, а Клинкорум «лопнул». Ему удалось устроиться лаборантом на фабрике. Раза два-три он, Линкорум, произносил неплохие речи. Он стоял за ассигнование средств на броненосец—первая речь, он стоял за все честное, принципиальное, искреннее, смелое, свободное, вдумчивое, человеческое — вторая речь. Ему здорово хлопали, — он растрогал стариков-рабочих. Своим проникновенным, дрожащим от волнения голосом, своим очень приличным сюртуком, шнурочком от пенсне, рукой, которую он изредка поднимал вверх...

Кроме того Клинкорум умел негодовать. У него вибрировал и срывался голос, он разводил руками и тряс головой. — «Ни-че-го не по-ни-маю, бесприн-цип-но, от-вра-ти-тель-но», — и опять тряс головой.

Его выбрали в фабком.

И тут он сразу же показал зубы. — «Я никому не позволю наступать себе на ногу, — говорил он, и голос его дрожал от волнения. — Я никому не позволю швыряться принципами, уверяю вас».

Он шел на все в драках с коммунистами и учил своих товарищей, что единственной мерой в борьбе с беспринципным является беспринципность же. «Мы должны драться их же оружием, мы должны знать своих врагов...» Он передергивал и врал — этот человек интеллекта, он работал поистине не за страх, а за совесть... Но конечно он был против «физических» мер воздействия. «Это не борьба, — говорил он, — разве это борьба — бить! О боже! Нет, нет, я никогда не соглашусь с вами...»

Он вытягивал вперед руки и ставил перед собой ладони щитами, он закрывал глаза, — весь его вид означал, что он не может слушать таких вещей...

Наци! У него не было к ним особых симпатий. Грубые и необразованные люди. Прежде всего — партия должна иметь теорию, а какая теория у наци? Погромные антисемитские листки — разве это теория? То ли дело социал-демократия! Каутский и Маркс, Отто Бауэр и Карл Реммер, сколько книг и брошюр, какая теория! От эйзенахцев до наших дней — сколько государственных умов, сколько изумительных произведений!

Он подобрал себе отличную библиотеку и изредка копался в ней, — надо быть образованным, — но науки давались ему трудно. «Все было запутано, конечно, — бормотал он, — не нам хватать с неба звезды». В конце концов он положился на свое чутье, и оно его не подводило.

Шванинг слушал его молча. В спальне горела фиолетовая лампочка (прият-

— Ребята, вы можете сдать нас зеленым — или помочь...

но для глаз), Ральф сидел в кресле, вытянув ноги вперед. Дверь в столовую была открыта, там посредине сиял всеми медяшками изумительный оркестрион. Клинкорум вертел в пальцах брелоки от часов и говорил своим взволнованным, дрожащим голосом о брожении на фабрике, о том, что он «так сказать» потерял вожжи, о том, что «они», «эти сумасшедшие люди» готовы бастовать, а вся фабрика безусловно из солидарности поддержит их. К чему это все может привести?

Шванинг молчал. Его голова, похожая на огурец, покоилась на подушках. Он был обвязан, Клинкорум ставил ему примочки и помогал поворачиваться — очень нежно, как настоящий брат мило-

сердия. Потом Шванингу захотелось кофе, и Клинкорум пошел на кухню (отличная кухня), зажег газ и смолол на кофейной мельнице немного зерен. — «Цикорий в левом шкапчике, — крикнул ему Шванинг, — в левом!» Клинкорум поджарил хлеба, — все получилось отлично.

Они пили кофе в спальне, за маленьким столиком, Шванинг, весь обложенный подушками, кряхтел и стонал, Клинкорум делал ему бутерброды и размешивал сахар в кофе.

— Может быть вам почитать? — спросил он у Шванинга, — у меня есть с собой романчик, и препикантный...

— Нет, не надо. — Шванинг говорил густым, медным голосом, они здорово стукнули его в грудь. — Я не люблю романчиков, кроме того нам нужно поговорить о делах.

— О делах?

Они закурили папиросы.

— Да, о делах... Приподнимите мне пожалуйста, герр Клинкорум, голову. Спасибо!

Шванинг оглядел комнату желтыми глазами.

— Вот видите, — сказал он, — моя квартира... Боже мой, листки, литература, антисемитизм... Вы — наивный человек, герр Клинкорум... Неужели вы думаете, что эти четыре дурака, которые возились тут, разыскивая следы преступников, в самом деле спасут нас, когда начнется настоящая драка? Спаси вас бог от таких мыслей! — Ему показалось, что он сострил,—спаси вас бог от такого спасения... Сейчас нужны пулеметы, герр Клинкорум, сейчас нужны газовые бомбы, а не речи. Ваш сезон оканчивается. Понимаете? И дело конечно вовсе не в погромных листовках, а в силе убеждения. Должно быть вы поняли это, если пришли ко мне? Правда?

Клинкорум закрыл глаза и выставил ладони щитками.

— Нет, нет, вы не поняли меня.

— Я хочу говорить о деле, — перебил Шванинг. — Только о деле. Вот моя квартира. У меня есть несколько галстуков и несколько пфеннигов на черный день. Что есть у вас? И что вы будете делать, когда эти ребята посадят вас на тачку и вывезут за ворота?

— Этого не будет...

— Не притворяйтесь кроликом. Это будет завтра, в крайнем случае послезавтра, вы прекрасно это знаете.

— Герр Шванинг!

— Бросьте! Ей-богу, нам верят только олухи, а когда вас вывезут, будет уже поздно. Понимаете?

Клинкорум молчал.

— У вас выгодная внешность. Мы сделаем вам карьеру, настоящую карьеру. Вы похожи на русского писателя Чехова. Нам нужны интеллигентные люди. Нам нужны люди, умеющие говорить о чести, о долге, о справедливости. Но мы не любим людей, которые боятся револьвера. Что?

Клинкорум все вертел пальцами брелоки. Он был слегка бледен и смотрел в сторону, в дальний угол.

— Зачем же вы пришли ко мне? Вы пришли ко мне для того, чтобы объявить себя банкротом? Социал-демократ пришел к национал-социалисту спрашивать у него совета. Что я вам посоветую? То, что в интересах вашей партии или моей? Вы так ставите вопрос? Ладно, отвечу. Я вам посоветую то, что в интересах родины. О родине довольно слов, речей, митингов. Родине нужны хорошие ребята, умеющие работать бомбой, револьвером, ребята с крепкими лапами. Понимаете? Револьвер и бомба. О чем мечтает Москва? О всемирном союзе советских республик. Ладно. Посмотрим. КПГ тоже научилась разговаривать. Мы должны научить их молчать. Понимаете? Иначе все это пойдет к чорту. Моя квартира и ваши сбережения... Вы хотите иметь свою аптеку, я хочу... Я тоже кое-чего хочу. Вы считаете, что их можно убедить, — я этого не считаю. Их можно убедить, имея систему подавления, настоящую полицию, настоящую армию, настоящую партию, настоящий пулемет.

Они говорили до поздней ночи. Два раза Клинкорум варил кофе. Он менял примочки и водил Шванинга в уборную. Он даже спустил за ним воду, потому что Шванингу стало дурно. Аптекарь, он считал себя близким к медицине и по собственному почину намазал Шванингу спину иодом. Он был мягок и добр, — с политики они перешли на искусство, и Клинкорум оказался большим поклонником грустной музыки. Они поспорили о Сен-Сансе и о Шопене и расстались настоящими друзьями.

ПОТОМКИ

С. Безбородов
рис. Арсения Иванова

К Георгиевскому мосту он выехал в пятом часу вечера. Дорога была плохая. Гнедая его лошадь стала черной от пота и высоко носила боками.

В глубоком узком ущелье ровным гулом шумела коричневая Кара-Койсу. Река вырывалась из тесной щели, через которую на головокружительной высоте был перекинут красный железный Георгиевский мост, и широким коричневым жгутом вилась по дну глубокой и просторной долины.

У моста отдыхал караван мышастых, груженых бидонами керосина ишаков. Женщины в черных пыльных одеждах сидели на земле и ели желтый вяленый курдюк. Маленькими ножичками, похожими на грубо сделанные бритвы, они отрезали тонкие ломтики бараньего сала. Старик в рваном черном бешмете с большим, в серебре, кинжалом на поясе, в чувяках, сидел поодаль и жевал беззубыми деснами кислый овечий сыр.

— Селям алейкум, — сказал Сулейман, подводя коня к старику. И старик ответил — «алейкум селям» — и чуточку подвинулся, давая Сулейману место. Тот сел, прислонившись спиной к мостовой ферме.

— Куда керосин? — спросил он. — В Хунзах?

— В Хунзах, — подтвердил старик, продолжая, словно корова, перетирать деснами тугой, как резина, сыр. И Сулейман увидел, что старик был очень беден и стар. У него не было ресниц и веки его глаз, распухшие и мокрые, были цвета перезрелой сливы.

«Трахома», — подумал Сулейман. Он достал коробку с крепким араканским табаком и отдул один листик серой курительной бумаги.

— Сведи мою лошадь назад в Хунзах. Отдашь ее Магомету Омарову. Я поеду дальше на автобусе.

Старик продолжал безучастно жевать запавшими синими губами.

Автобус выскочил вдали из-за ребра рыжей каменной скалы и побежал по невидимой дороге, как таракан по багету. Он снова пропал, заслоненный выступом горы, потом появился вновь уже близко. Это была старая, очень изношенная десятиместная машина. Из радиатора ее валил пар. Женщины бросились к ишакам и загнали их мордами в каменную стену, а сами стали рядом. Старик поднялся на ноги, ссыпал в рот белые крошки сыра и взял

„БОРЬБА МИРОВ“

В 1933 г. ежемесячный литературно-художественный журнал сюжетной прозы и революционной романтики „БОРЬБА МИРОВ“ даст на своих страницах произведения следующих советских и иностранных писателей:

ТЕОДОР ПЛИВИЕР.—„Кайзер ушел — генералы остались“.
Л. СЕРГЕЕВ.—„Победители севера“.
Л. САВИН.—„Хазри“.
Л. ГРАБАРЬ.—„Дни нашей жизни“.
ЗУЕВ-ОРДЫНЕЦ.—„Бледное озеро“.
Юр. МАРК.—„Нарушенная тишина“.
Ник. КОСТАРЕВ.—„Новеллы“.
Л. РАДИЩЕВ.—„Двое“.
Юл. БЕРЗИН.—„Казакстанские очерки“.

...„Это было в конце 1851 г."

повод Сулейманова коня. Визжа тормозами, автобус остановился у моста.

На крутом повороте дороги Сулейман через плечо посмотрел назад. Мост был далеко позади. Около него никого уже не было.

Дорога поднималась, как штопор. Солнце металось над головой справа налево. В три голоса ревел мотор. Шел хаджал-махинский перевал. Впереди Сулеймана сидели горцы в низких бараньих папахах. Они пели песни Гамзата и время от времени кричали «ура». Они ехали на автобусе впервые.

В Хаджал-Махе машина набирала бензин. Горцы толпились у радиатора, ладонями пробуя его раскаленные гофрированные бока, и удивлялись. А Сулейман, забившись в свой угол, тихо смеялся, глядя на них, и качал головой: родина, какой ты становишься неузнаваемой!

Когда проезжали мимо каменного склепа, что на выезде из Левашей, уже было темно и ночной ветер тихо качал длинные белые холщевые тряпки, привязанные к шесту у могилы святого.

Старика звали Казанбий. Он давно сбился со счета своим годам и жил устало и безучастно, как во сне. В прошлом году по горам прошел хабар: в Гуниб приехал из Грузии великий ученый и лекарь. Он открыл глаза многим аварцам, не видавшим света по десяткам лет. Он лечил без денег. Казанбий не поехал в Гуниб лечить свои глаза. Зачем? У его отца Юсуфа болезнь уже затянула правый глаз пленкой, голубой, как снятое молоко. Ну, и что ж из этого? А чего ему в этой жизни смотреть двумя глазами? Радости не хватает и на один глаз. Велик бог и могуч пророк. Бог может отнять у Казанбия его жизнь, не то что его глаза. Разве можно какими-то лекарствами отвратить волю Аллаха?

Казанбий ехал на Сулеймановой лошади впереди ишачьего каравана. Ишаков Казанбия подталкивали женщины. Женщины кричали на животных звериными голосами. Ишаки торопливо перебирали точеными серыми ножками и сердито крутили ушами, похожими на листья фикуса.

Казанбий даже приосанился. Ему хотелось думать, что это—его лошадь. Он нарочно отъехал подальше вперед от ишаков с керосином, чтобы встречные могли подумать: вот старый Казанбий

едет от кунака на своей собственной лошади, а за ним какие-то грязные бабы гонят ишаков с керосином...

Белая узкая дорога идет по карнизу пегой отвесной стены. Уже сырой мыльный туман подбирается снизу, из ущелья под копыта понурившейся лошади. Казанбий спит в седле и не слышит звериных криков обогнавших его женщин и не видит мутной вуали млечного пути, соединившего гнутым мостом черные вырезные вершины гор. Лошадь остановилась и потянулась отвислыми губами за чахлой травой, выбивающейся из расщелины. Казанбий проснулся и вытянул ее нагайкой по черному запавшему боку.

В Карадаг они добрались глухой ночью.

Старик, не сказав ни слова женщинам, повернул свою лошадь налево по крутой нагорной тропе и крупным шагом поехал мимо черных тихих садов, пахнувших паутиной и айвой. В сакле кунака был свет. На стук копыт кто-то вышел на плоскую крышу и, увидев всадника, торопливо сбежал по скрипучей лестнице открывать ворота. Казанбий, приосанившись и качаясь в седле, мелким прогулочным шагом въехал в темный крытый двор, легко спрыгнул с седла, стремя которого крепко держал кунак.

Убрав лошадь, хозяин бесшумно вошел в кунацкую, поправил фитиль в маленькой керосиновой лампе, тускло горевшей на узком подоконнике, и молча сел против гостя, поджав под себя ноги в побелевших разбитых чувяках. За стеной, во второй комнате сакли слышались голоса и движение. Иногда раздавался смех. Казанбий указал головой на стену.

— Что там?

Хозяин почесал под мышкой, вздохнул и виновато сказал:

— Ликпункт. Мой Магома стал ликвидатором, — он захихикал, заглядывая в глаза гостю. — Хотим новую школу строить. Уж и не знаю, к добру ли?

Казанбий сидел неподвижно. Худая черная девочка, звеня серебряными монетами и висюльками, молча внесла большой деревянный, точеный, круглый поднос и поставила его на ковер между сидевшими мужчинами. Вышла и сейчас же вернулась с узкогорлым медным кувшином воды.

— А зачем ликпункт? — тяжело спросил Казанбий. Он устал и хотел спать. Горячий пар хичи — болтушки из муки с коровьим маслом — напомнил ему, что за весь день он ничего не съел кроме кусочка старого сухого сыра. — Зачем это? А? Зачем ликпункт? Зачем новая грамота?

Он стал есть болтушку, разрывая руками, как рвут бумагу, плоские горячие чуреки.

— Новая грамота легкая, — опять виновато сказал хозяин. — В месяц можно читать научиться.

— А что читать? — Казанбий, не поднимая глаз и ожидая ответа, задержал деревянную ложку над миской. Хозяин понял вопрос и вздохнул. — Что читать? Коран? Газеты? Коран написан по-арабски, по новой грамоте Коран не прочтешь. А в газетах что читать?

За стеной зашумели и зашаркали ногами.

— Интересно, — неопределенно сказал хозяин, встал и вышел из кунацкой. За стеной сразу стало тихо.

Казанбий доел хичи, оперся о подушку. Оранжевый свет лампы резал больные глаза. Он закрыл их и задремал. Ему сразу приснился какой-то приятный сон. Он проснулся от своего же храпа. В комнате было пусто. Лампа была привернута. О черное стекло окна однообразно и надоедливо билась с жужжанием большая зеленая муха. Глухое раздражение поднялось в его груди. — Авария, родина... По твоим тропинкам потомки имама тащут на ишаках керосин для кооператива. По дорогам твоих гор воняют автомобили. В твоих ущельях на реки накидывают узду каменных плотин. Твой язык — язык пророка — переделывают и учат читать слева направо. Мальчишки смеются над стариком, который в пятницу выходит на улицу в черкеске. Мужчины снимают с поясов кинжалы и надевают на головы кепки. Дети курят вонючий табак в кукурузных листах. По ночам в своих саклях собираются какие-то ликпункты. Газеты! Родина, что творится в твоих горах? И нет никого,

кто вспомнил бы про былую славу Аварии!

Он думал долго. Думы его были горьки. Они мешались с дремотой и легкими старческими снами. Ему снился дед. В белой черкеске, с чалмой, конец которой падает ему на спину, прихрамывая дед подходит к нему, к Казанбию.

— Сегодняшний день, — говорит дед, играя рукоятью кинжала, — полезнее завтрашнего, Казанбий.

Старик проснулся. За стеной возились и гремели ведрами. Казанбий, пошатнувшись, поднялся на затекшие ноги и вышел из сакли на плоскую крышу. Край ее был освещен зеленым светом луны. В густой и теплой тени под навесом спали женщины. Неслышными шагами старик подошел к раскрытой двери во вторую комнату сакли и заглянул в нее. Кунак и его сын Магома молча и сосредоточенно белили стены. Половина стены была уже побелена. На другой половине Казанбий увидел выведенные углем какие-то закорючки.

— Почему ты делаешь это ночью? И зачем? — хрипло спросил Казанбий. Хозяин испуганно оглянулся и, увидев старика, виновато и заискивающе захихикал.

— Мы пишем буквы на стене. А разве хватит в сакле стен, чтобы писать целый месяц? Сегодня исписали всю стену, а завтра на чем писать?

— Сегодняшний день полезнее завтрашнего, — проворчал Казанбий, — и пошел от двери.

Сулейман вернулся в Хунзах через три дня. Магомет Омаров выслал ему лошадь к Георгиевскому мосту.

Вечером, после захода солнца, когда отец и сын кончили молитву и сидели на плоской крыше своей сакли, Сулейман зашел к старикам. Казанбий безучастно вертел круглый камень точила. Юсуф, сидя на корточках, точил большой тусклый кинжал. В тихом вечернем воздухе визжание и шипение точила разносилось далеко по аулу. Юсуф, склонив голову на бок, единственным глазом следил за бегом каменного колеса, осторожно водя взад и вперед обоюдоострый клинок. Клинок был старый, с полустертой от точки и ножен арабской надписью.

— Пусть будет мир в вашем доме, — сказал Сулейман, вылезая по вбитым в стену сакли колышкам на крышу.

— Пусть родится у тебя сын, — ответил Юсуф, не отрываясь от точила. Он поднес клинок к глазу и, словно большая слепая птица, осмотрел его, поворачивая голову. Потом вытер клинок о штаны и стал его наводить на голой своей руке. Потом попробовал побрить густые рыжие волосы на руке, опять вытер кинжал и, щелкнув, загнал его в ножны, висевшие на поясе.

— Какие новости в городе?

— Добрые новости. Большие новости, Юсуф. Ты останешься доволен новостями.

— Тогда рассказывай свои новости.

Сулейман вынул из кармана свернутую в трубочку книгу.

— Вот новости, — сказал он, щелкнув пальцем по книге. Казанбий пренебрежительно хмыкнул. Отец посмотрел на него единственным своим глазом, и старик съежился и вздохнул.

— Мы слушаем тебя, Сулейман, рассказывай.

— Пусть расскажет вам за меня эта книжка. Мне не рассказать так, как умеет рассказывать она.

Юсуф почесал бороду.

— Умную книжку так же приятно слушать, как и умного человека.

Сулейман уселся поудобнее и развернул книгу. Старики сидели перед ним. На одноглазом лице отца было выражение снисходительного и добродушного превосходства. За всю свою столетнюю жизнь он знал только одну умную книгу. Жизнь научила его ничему не удивляться и не верить ни во что. В воспаленных глазах Казанбия была тупая и бессильная злость. Сын был горячее и бесхитростнее отца. Откуда могла быть у сына мудрость отца? Юсуф вышел живым из каменной ямы Шамиля, служил всадником в русском полку, в 1877 году хитро и деликатно уклонился от участия в восстании аварцев и не посрамил великого рода, и не попал в опалу к русским.

Глухим от волнения голосом Сулейман начал читать по-аварски:

— *Это было в конце 1851 года. В холодный ноябрьский вечер Хаджи-*

РАЗГОВАРИВАЮТ ЦИФРЫ

В Америке сейчас —
12 000 000 безработных.

Они ночуют в ночлежках и на улицах, часами стоят у «кафе Гувера» — у бесплатных благотворительных столовых, умирают от истощения в больницах.

В Америке сейчас —
18 миллиардеров
владеют чудовищным богатством в
35 000 000 000 долларов.

Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирный аул Маххет, отстоявший верст двадцать от русских владений.

Только что затихло напряженное пение муэдзина и в чистом горном воздухе, пропитанном запахом кизячного дыма, отчетливо слышны были из-за мычания коров и блеяния овец... — читал Сулейман, изредка взглядывая на стариков.

— *...Хаджи-Мурат этот был знаменитый своими подвигами наиб Шамиля, не выезжавший иначе, как со своим значком в сопровождении десятков мюридов...*

Глаз Юсуфа стал круглым и диким, как у совы. Казанбий сидел с отвалившейся нижней челюстью, точно он увидел что-то страшное. Сулейман продолжал:

— *...Теперь, закутанный в башлык и бурку, из-под которой торчала винтовка, он ехал с одним мюридом, стараясь быть как можно меньше замеченным, вглядываясь своими быстрыми черными глазами в лица попадавшихся ему по дороге жителей...*

Юсуф повернул к Казанбию свое перекошенное величайшим волнением лицо.

— Отец, — хрипло сказал он. Казанбий кивнул головой.

Сиреневое небо густело и стыло над дикими голыми горами. Где-то на соседнем дворе протрубил и заикал ишак. Его вопль заставил Сулеймана прервать чтение. Черными ночными птицами сидели перед ним старики. Глаз Юсуфа светился, как у лошади.

Ровным окрепшим голосом Сулейман читал страницу за страницей. Стало темно. и какая-то черная шустрая птица бесшумно и молниеносно скользнула над крышей, почти коснувшись Казанбия крылом. Страшная старуха с въевшейся в морщины грязью подала на крышу медный плоский светильник. Фитиль горел длинным, неподвижным в тихом вечернем воздухе золотым огнем. Тоненький столбик копоти завивался жгутиком и лентами уходил в черное вызвездившееся небо.

Совершалось страшное таинство. Великий отец вновь переживал свои дикие дни перед жалкими полуслепыми, оборванными детьми. Спазма держала

Юсуфа за глотку. Ему хотелось дико кричать и рубить кинжалом. Он видел узкую солнечную, круто падающую уличку аула. Синее небо и синие горы. Тенистая старая груша, вызолоченная ранним солнцем. Мать с прижатыми к груди руками на плоской высокой крыше. А по уличке вниз, в раннее солнечное кипение и золотую толкучку пыли, на белой горячей лошади в последний раз медленно и осторожно съезжает отец. Вот он обернулся и сверкнул синеватыми зубами. Он махнул сыну рукой, и лошадь испугалась этого взмаха руки с прямой тонкой плетью и шарахнулась, садясь на задние ноги на крутом сыпучем спуске.

Жизнь возвращалась назад. Реки потекли вспять. Солнце пошло с запада на восток.

— *...После пятиминутного торжественного молчания Шамиль открыл глаза, еще более прищурил их и сказал:*

— *Приведите ко мне сына Хаджи-Мурата.*

— *Он здесь, — сказал Джемаль-Эдин.*

И действительно Юсуф, сын Хаджи-Мурата, худой, бледный, оборванный и вонючий, но все еще красивый своим телом и лицом, с такими же жгучими, как у бабки Патимат, черными глазами, уже стоял у ворот внешнего двора, ожидая призыва...

Столетний Юсуф приподнялся на корточках, точно собираясь прыгнуть. Лицо его стало черным от прилива крови. Белый без зрачка, затянутый бельмом глаз вылезал из орбиты.

— *...Юсуф не разделял чувств отца к Шамилю. Он не знал всего прошедшего или знал, но не пережил его, не понимал, зачем отец его так упорно враждует с Шамилем. Ему, желающему только одного: продолжения той легкой, разгульной жизни, какую он, как сын наиба, вел в Хунзахе, казалось совершенно ненужным враждовать с Шамилем. В отпор и противоречие отцу, он особенно восхищался Шамилем и питал к нему распространенное в горах восторженное поклонение. Он теперь с особенным чувством трепетного благоговения к имаму вошел в кунацкую и, остановившись у дверей, встретился с упорным сощуренным взглядом Шамиля. Он постоял несколько времени, потом подошел к Шамилю и поцеловал его большую, с длинными пальцами, белую руку.*

— *Ты сын Хаджи-Мурата?*

— *Я, имам...*

Хриплым и слабым голосом старик сказал:

— Довольно. Подожди, Сулейман, читать. Немножко подожди.—Он повернулся к сыну. Лицо Казанбия было залито грязными слезами. Он тихо раскачивался из стороны в сторону, точно от нестерпимой зубной боли. Долго и молча смотрел отец в лишенные ресниц кроличьи, затуманенные слезами глаза своего сына.

— Пойди, Казанбий, вниз, — наконец сказал он разбитым натужным голосом.

Старик всхлипнул:

— Отец... Позволь мне послушать... Ведь я ни разу не видел... не знаю... дедушку...

— Пойди, Казанбий, вниз, — бесстрастно повторил Юсуф. Казанбий встал. Огромная тень пробежала по длинной крыше и прыгнула на освещенное неживое дерево. Огонь в светильнике припал, и черная копоть завихрилась плоским и густым шлейфом. И только когда затихли внизу разбитые шаркающие шаги сына, Юсуф сказал:

— Читай, Сулейман, дальше.

Сулейман продолжал:

— *...Так напиши отцу, что если он выйдет назад ко мне теперь до Байрама, я прошу его и все будет по-старому. Если же нет и он останется у русских, то, — и Шамиль грозно нахмурился, — я отдам твою бабку по аулам, а тебе отрублю голову.*

Ни один мускул не дрогнул на лице Юсуфа. Он наклонил голову в знак того, что понял слова Шамиля.

— *Напиши так и отдай моему посланнику.*

Шамиль замолчал и долго смотрел на Юсуфа...

Старик прервал Сулеймана:

— Кто написал все это про меня, про отца и про имама?

— Это написал один русский.

Юсуф склонил голову на бок и недоверчиво посмотрел на Сулеймана.

— Русский? А откуда он знает все это? Русский не может знать этого.

— Он написал это по рассказам людей.

— Я знаю, кто написал это, — с глухой угрозой сказал старик.

— Ничего ты не знаешь. Это написано очень давно. Русский, написавший эту книгу, давно умер. Звали его, этого русского, Лев Толстой.

— Это неправда, — спокойно сказал Юсуф. — Я знал бы про эту книгу. Ты не хочешь сказать мне имя этого человека. Тебе нечего бояться, — добавил он глухим и печальным голосом. — Все, что написано здесь, — правда.

— Послушай, Юсуф. Я говорю правду. Эту книгу написал русский. Зовут его Толстой. Ты не мог прочесть ее, никто в горах не мог ее прочесть: она была написана по-русски. Только теперь, совсем недавно книжку перевели на аварский язык. Я купил ее в Буйнакске.

— Как она называется?

— Она так и называется: «Хаджи-Мурат».

— Хаджи-Мурат, — задумчиво и певуче протянул старик. — Хаджи-Мурат... — Он помолчал, пальцем рисуя что-то на пыльной земле крыши. Потом пристально посмотрел в глаза Сулеймана и тихо спросил:

— А здесь все про меня написано?

— Что все?

— Про восстание написано?

Сулейман засмеялся.

— Нет, Юсуф, про восстание не написано. А это верно, что ты прогнал тогда чохских гонцов и сказал русскому генералу их имена?

Теперь засмеялся успокоенным и самодовольным смешком старый Юсуф.

— Береги уста, чтобы голова не была бита. Читай дальше, Сулейман.

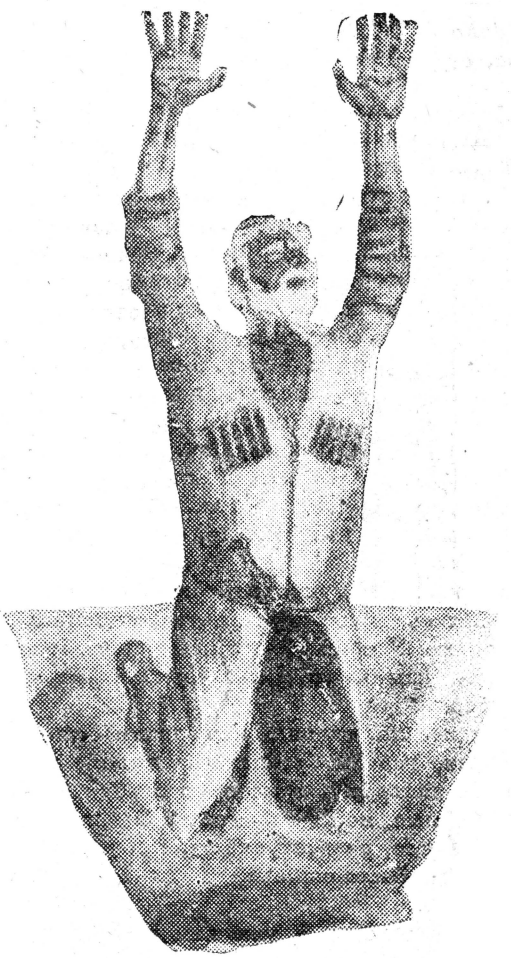
Под утро они кончили книгу.

Сулейман, опустив усталую голову, шел по холодной уличке между двумя глухими, без окон, каменными высокими стенами. Из ниши вышел Казанбий и преградил ему дорогу. Руки старика тряслись. Он торопливо заговорил осипшим от бессонницы голосом.

— Сулейман. Ты все знаешь. Ты учитель. Ты знаешь новую грамоту. Научи меня ей, Сулейман, чтобы я смог прочесть эту книжку. Я хочу знать все, — воспаленные его глаза вспыхнули диким злобой. Он наклонился к самому лицу учителя и дохнул на него гнилью испорченных зубов. — Я буду знать все про деда. Ноготь греха с трудом срезывается. Но грех не может жить, кто бы его ни совершил.

— Успокойся, Казанбий, — мягко сказал учитель. — Иди с миром спать. Твой отец чист перед дедом.

С крыши своей сакли он осмотрел аул. Из-за красной горы медленно вылезало солнце. Далеко, на другом конце аула, тучный старик молился на рваном бараньем тулупе. Он стоял на коленях, вывернув голые, грязные пятки, и огромное красное солнце отражалось в его единственном глазу.



Старик молился...

Мирра Айзенштадт

рис. О. Верейского

Карьера Эдди Вальтера

„В Германии в год регистрируется около 80 000 преступлений, которые совершаются детьми и подростками"

„Югенд-Фэрвертс"

Господину адвокату Геллеру

Уважаемый герр Геллер!

Меня через несколько дней будут судить за участие в убийстве и ограблении ювелира на Лихтенштрассе. Я не умею говорить, я никогда не судился. Знаю, что вы будете меня защищать, поэтому мне хочется написать вам все то, что я мог бы сказать на суде о себе, для того чтобы вы поняли, почему я это сделал.

Мне 15 лет. Меня зовут Эдди Вальтер. Я живу в небольшом немецком городе Герсвейлере. До 13 лет учился в школе, но в 1929 году отец стал безработным, и мне надо было начать зарабатывать для того, чтобы хоть как-нибудь поддержать существование моей семьи. Утром я ходил в школу, а вечером работал лифтером в Гранд-отеле. Дома была нужда, нечем было кормить моих маленьких сестренок, шестилетних близнецов Сузи и Берту. Все то, что я зарабатывал — несколько марок в неделю — шло на молоко и маргарин близнецам. Ну, я ведь большой, мне тогда было уже 13 лет, я завтракал по очереди с братом Вилли. Один день завтрак получал Вилли, на другой день я.

В школу я приходил голодным и на уроках сидел на парте, прислонившись к спинке. У меня кружилась голова, и я смутно, как бы издалека, слышал фразы учителя.

Видите ли, сначала нам, детям безработных, давали бесплатно в школе горячий завтрак. Но потом завтраки стали платные, по 50 пфеннигов в неделю. Я, конечно, не завтракал. Ведь у близнецов не было молока, а я был уже большой.

После школы, я уже вам говорил, я работал лифтером в Гранд-отеле. Одетый в красную форму с золотыми галунами, я с 4 часов дня до часу ночи беспрерывно поднимал и опускал вниз и вверх шикарных дам и мужчин. По коридорам все время сновали горничные, разнося подносы с бутербродами, жареными цыплятами, тортами и вином. От голода у меня все вертелось перед глазами и немного тошнило. Домой я приходил во втором часу ночи и садился готовить уроки. Так шли дни.

Но вот в 1930 году в один день к нам в класс пришел учитель. Он сказал, что хочет ознакомить нас с германской конституцией, и устроил в классе голосование. Все ученики получили по выборному листку. Мы могли голосовать за четыре партии: социал-демократическую, католическую, народную и немецких националистов. Мы должны были отметить крестиком партию, за которую хотели бы голосовать. Нас было в классе 36 ребят. И мы подали учителю 24 листка, на которых было написано: «я голосую за коммунистов!»

Вы бы видели, как вдруг побагровел учитель! Он стал совсем синим от злости и гневно закричал:

— Вы, кажется, будете милой коммунистической бандой!

Знаете, все говорят, что я тихий мальчик, но очевидно в тот день я был голоднее, чем всегда, а поэтому и более обозлен. Я встал и крикнул:

— Да, мы не хотим быть буржуазной бандой, которая лишила хлеба нас и наших отцов!

На другой день меня исключили из школы.

Вы думаете — я очень жалел? Совсем нет. Я накануне читал призыв союза промышленников, который призывал молодежь не итти в школу потому, что все равно по окончании ее не будет работы. Итак я с 13 лет перестал учиться. Ну, когда бросил школу, у меня стало больше свободного времени. Я пробовал найти себе еще днем какую-нибудь работу, но мне это не уда-

Ого! совсем мальчонка!..

валось. Я часто ходил в парк. Там у меня было много приятелей — таких же детей безработных, как и я. Мы устраивали цирк. Представляли сцены, как будто бы у нас семья, наш отец безработный, мы голодны. Но вдруг отец приносит много продуктов, и мы едим. Едим ветчину, сосиски, булочки... Это было очень интересно, а за вход в цирк мы брали по два гроша. Когда собиралось несколько грошей, мы покупали овощи, тут же поровну делили их и съедали. Это было великолепно! Когда же на наш цирк никто не хотел смотреть, то мы ходили вытаскивать испорченные овощи из сточных канав. Но, видите ли, в этих делах надо быть осторожным и не бояться, что заболит живот. Вот соседская Мэгги, ей было 12 лет, — она ежедневно копалась в отбросах мусорных ям и отравилась гнилой колбасой. Мать Мэгги очень плакала, когда ее хоронили.

Я не люблю бывать дома. Нас—семеро человек, а комната в подвале маленькая и узкая. Голодные близнецы все время кричат, а мать плачет и ругает старшую сестру Анни за то, что она стала уличной девкой. Анни тоже плачет и говорит матери, что она ходит по улицам не для себя, а для того, чтобы заработать для семьи. Я вам, кажется, уже писал, что у меня есть старший брат Вилли? Это тот, с которым я завтракаю по очереди. Так вот Вилли 19 лет. Он—самый старший из детей в нашей семье. Я его слушаю и уважаю. Вилли ходил все время задумчивый и рассеянный. Потом пропал куда-то на три дня и пришел пьяный, растрепанный. Принес отцу деньги, сказал, что заработал, а где—не сказал. Близнецы несколько дней не плакали, и мы все каждый день ели хлеб с маргарином и даже заплатили за подвал, а то нас уже выселять хотели. Так вот сейчас я вам расскажу самое главное.

Вскоре после этого я хотел пойти стать в очередь в столовку общественного питания. Но тут Вилли мне сказал:

— Эдд! Ты умный мальчик и ты любишь мать и близнецов, Эдд. Если ты не хочешь, чтобы они умерли от голода, то сделаешь то, что я тебе скажу.

Вилли был прав. Я люблю мать и близнецов. Мне жаль Анни и отца. Я согласился влезть в форточку к ювелиру на Лихтенштрассе. Понимаете, сначала я открыл дверь Вилли и еще двум парням. Парни задушили полотенцем и подушкой толстого ювелира, а я с Вилли начали открывать несгораемый шкаф. Вот тут-то меня и схватили полицейские. «Ого! совсем мальчонка!» — воскликнул полицейский, разглядев меня. Остальное, герр Геллер, вы наверное сами это знаете. Я бы только хотел прибавить в конце. Мне кажется, что я бы никогда не пошел на это дело, если бы не голод.

С уважением

Эдди Вальтер.

В 1933 году в журнале „БОРЬБА МИРОВ" примут участие следующие авторы:

С. Безбородов, Ю. Берзин, И. Бражнин, Г. Вэнус, В. Виткович, Ю. Герман, Л. Грабарь, В. Дружинин, Н. Костарев, С. Марзич, Ю. Марк, Н. Константинов, Л. Радищев, Л. Савин, П. Сажин, Л. Сергеев и др.

В 1933 году в журнале „БОРЬБА МИРОВ" будет напечатана новая повесть Л. Грабаря „Дни нашей жизни".

короткий разговор

Ник. Костарев
рисунки Н. Муратова

новелла

А ночь была черная и тугая, как стена: можно опереться рукой, — такая она была густая и плотная.

Мы как будто пришли...

Остановились. Кто-то сбоку громко и протяжно вздохнул.

Я протянул руку и нащупал теплую ласковую резину лошадиных губ.

Спросили о штабе. Невидимый кто-то ответил: — «Да».

Вошли...

Когда мы говорили с ним до этого по прямому проводу, я еще не слыхал его голоса и не видал его, и не представлял его, какой он есть. Только черточки на телеграфной ленте говорили со мной словами приказа, сухими постукиваниями чернильного валика Морзе, и никак не было видно на ленте, что человек, разговаривающий со мной, сидит там у аппарата с ногой разбинтованной и кровоточащей... А когда мы вошли к нему в вагон, он продолжал разговаривать, теперь уже по полевому телефону.

Мы вошли с адъютантом нашего полка и сели. Я — напротив. А его нога разбинтована, и кровь каплет в тазик. Сам он сидит в расстегнутой гимнастерке, наклонился на стол, прилег правым ухом к белой телефонной трубке и слушает.

А на столе — война, и за окном — война: подняты казачьи степи атаманом Дутовым против заводского Урала. А на столе — карта войны, револьвер, гранаты, и шашка накрест легла с золотым тиснением на ободах новой казачьей ножны. Телеграфная лента идет с аппарата и завивается от Тургайских степей и восстанья и от московско-уральских приказов.

Коротко стриженая большая голова слушает и не говорит.

А напротив меня и его как раз — два черных бородача, как злые грачи, стоят на вагонном полу на коленях и шапки хорошие держат в руках, и ждут, когда он кончит слушать и заговорит, и не подымаются с вагонного пола, точно вросли через него в казацкую свою землю. А на них — полушубки новые барнаульские, красота и теплынь (а на наших воинах и рабочих бойцах — шинелишки мировой войны: вмертвую спали кругом). Стоят в полушубках на коленях и не разговаривают, и молчат, как два окаянных столба на дороге. Ярые, злые противники — атаманы!

Блюхер повернулся от трубки и глазом повел мне на них, и говорит хрипловато:

— Не встают дураки, ломаются, думают — помилую. А я разговаривать с ними не хочу, пока не встанут. Вот так и пережидаем друг друга...

Он окончил слушать.

Старики-атаманы покорились: бросили волынку старомодную тянуть. Поднялись на своих дорогих тонких чесанках. Заговорили.

Атаманская речь коротка.

Но и коротко говорил им Блюхер:

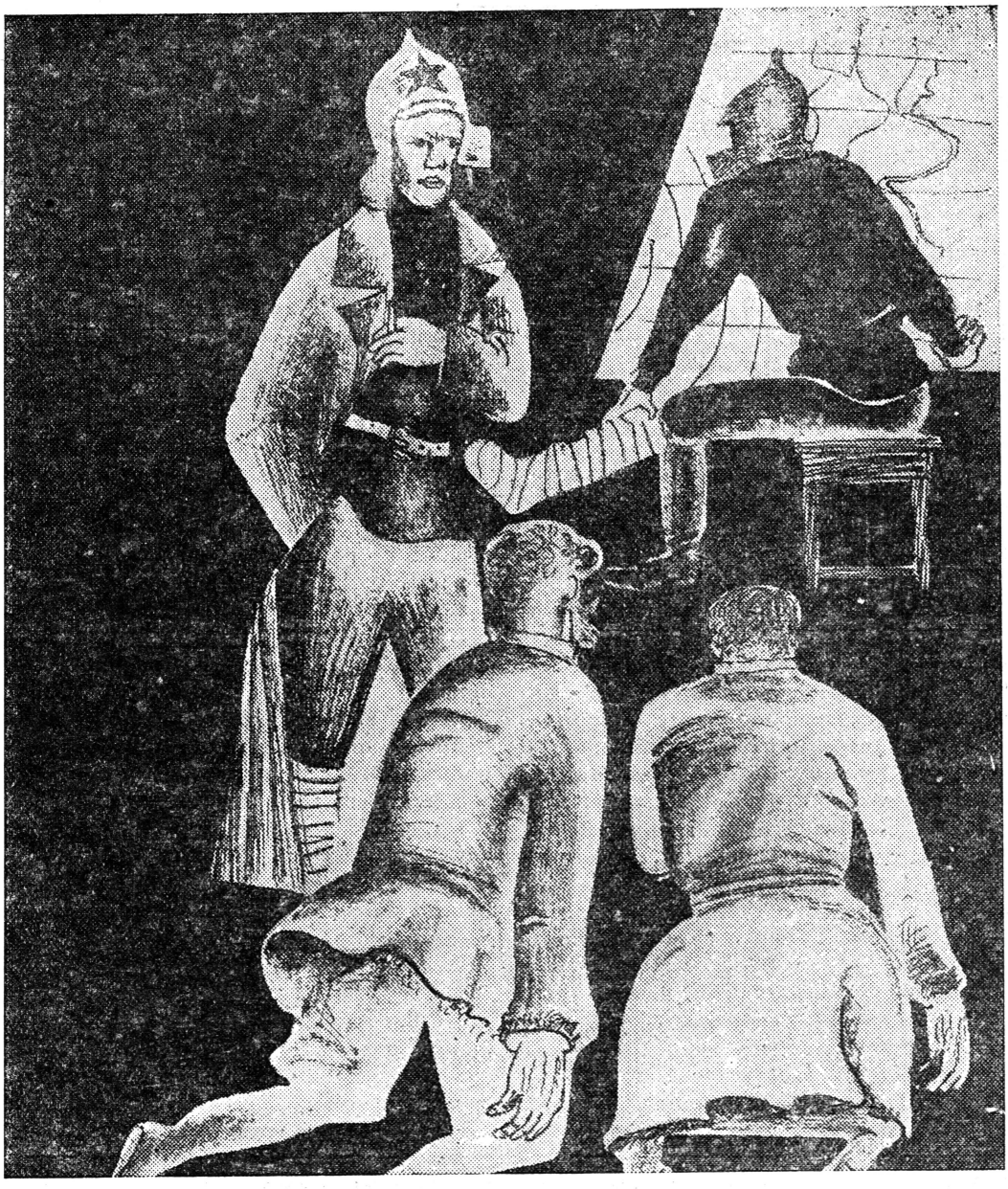
— Мы идем, нас катит в степи революций вал. Что вы? С нами шутки вздумали шутить? Раскидали насыпь, срезали столбы, шпалы утащили, рельсы по станциям развезли...

Блюхер взял тихонько руку, поднял на зеркалькое окно.

— Там, — сказал, — под насыпью повалено станичное упрямство; атаманы синие лежат, — кончил я сегодня с ними, расстрелял... Атаманы! Чтобы были здесь наутро все столбы, чтобы шпалы все и рельсы пролегли, костылями накрепко забиты на местах... а иначе — душа из вас вон!

Атаманы молчат.

— Мы не матросы, — не уйдем! Не дождетесь. Наш Кронштадт, наша Балтика — здесь, и корабли наши — уральские заводики — тоже здесь, и пока мы вас не заколотим в гроб, не



...Не встают дураки, ломаются...

уйдем, или вы признаете нашу советскую, рабоче-крестьянскую власть.

...Конечно, Блюхер говорил и проще и ясней. Но за окном было восстание и Тургайские степи, и каждому из нас не было и двадцати пяти лет, и железная романтика революции высоко поднимала наши слова и приказы. А на столе у Блюхера, на карте земли, — мандат, а на мандате круглый штамп: «Мир хижинам, война дворцам!».

Атаманы поклонились низко и без шапок вышли из вагона в ночь.

...Всю ночь кричала ходками и телегами степь. Она кричала и еще раз, когда Дутов, побитый нами и разгромленный, уходил от нас также ночью на ходках, переодевшись бабой, уходил в Тургайские степи...

...Всю ночь кричала ходками и телегами степь. Это казачьи станицы по приказу Блюхера свозили обратно и

шпалы, и рельсы, и столбы телеграфные...

Утром Блюхеру поседлали коня. С больной ногой в сапоге он взобрался на лошадь. Осторожно дал шенкеля. Тронулся. За ним по серебряному насту весенней сверкающей степи сорвались боком и понеслись ординарцы.

Блюхер поехал к броневику.

А на снегу сзади остались лежать еще неубранные семь атаманов в бархате синем и плисе: черные бороды рядом лежат...

За штабом в дымящемся утре сгружались красные эшелоны: уральские красногвардейцы строились в отряды и полки и двигались один за другим, не говоря ни слова, в степь, на главного атамана, на атамана Дутова и его банды.

К вечеру того же дня все столбы телеграфные были врыты на место, шпалы уложены и рельсы прибиты, и красные эшелонами двинулись в занятый вечером Троицк. А немного после, когда покоренные атаманы писали на пакете: «Председателю большевиков, господину товарищу Блюхеру в собственные руки», — Тургайская степь волновалась, зацветая первой большевистской весной, весной восемнадцатого года.

РАЗГОВАРИВАЮТ ЦИФРЫ

В бурю,
в туман,
ночью и днем

через Атлантический океан мчатся плавучие города — лайнеры, обгоняя тяжелые грузовые суда, опережая небольшие пассажирские пароходы. Самый быстрый из быстрых получает голубую ленту — мировой пароходный орден. Капиталисты награждают им самое быстроходное судно.

Пароход, который получит голубую ленту, будет перевозить через океан спешную почту. А перевозка почты дает огромные доходы, — гораздо больше, чем перевозка пассажиров. Мировые пароходные кампании ведут жестокую борьбу

за быстроту —
за голубую ленту —
за почту —
за прибыль.

Сначала голубая лента была у старой владычицы морей — Великобритании. Но «Северо-германский ллойд» обогнал ее. Голубая лента досталась немцам. Могут ли английские капиталисты упустить такую прибыль? Гордость Великобритании возмущена!

Около города Глазго мировая английская кампания «Кюнар-лайн» начала строить на верфи огромное судно. Она отобьет у немцев голубую ленту в первый же рейс из Европы в Америку.

Но никакого первого рейса не будет!

Кампания «Кюнар-лайн» не может достроить свое лучшее судно. Оно ржавеет на верфи. Как ребра левиафана торчат шпангоуты, железная обшивка зияет огромными дырами. Скупщики железного лома бродят около верфи и спрашивают, скоро ли будет распродаваться эта гора ржавого железа.

Не для чего достраивать великан-лайнер, когда даже старым морским бегунам нечего делать, — кризис. Вон что случилось с гигантом «Мэджестиком», который в одних каютах перевозил 1200 пассажиров. В последний рейс не набралось и 200 человек. Везти их через океан на «Мэджестике» — все равно, что занимать для перевозки двухсот огурцов из Украины в Ленинград особый вагон. «Мэджестику» пришлось стать на мертвый якорь.

Так на мертвом якоре уже стоит нескончаемая очередь безработных пароходов, больших и маленьких, океанских и каботажных, — третья часть британского торгового флота стоит без работы.

ТРИ РАССКАЗА УЧЕНЫХ

Л. Савельев

Вышло так, что этот новый год я встретил в поезде.

В вагоне со мной ехало несколько научных работников на какое-то совещание в Москву.

И мы заговорили о научных открытиях 1932, истекавшего, года.

Мне оставалось только слушать, что рассказывали мои соседи. А рассказывали они действительно интересные вещи.

РАССКАЗ ПЕРВОГО УЧЕНОГО

Я работаю в области химических наук. Трудно назвать все крупные открытия в химии за этот год. Слишком много пришлось бы мне перечислять.

Но вот о подземной газификации угля — об этом очень хочется рассказать.

Вы наверное слышали когда-нибудь о подземных пожарах в угольных шахтах? Это, действительно, страшное несчастье, гораздо более опасное, чем какой бы то ни было пожар на земле. Представьте только: вы работаете в шахте, и вдруг повалил густой дым, где-то взметнулось пламя. Это вспыхнула угольная пыль, загорелся уголь. Вы бросаетесь к выходу. Но выход далеко. И еще надо подняться наверх. Не выбраться.

Если вы внимательно читаете газеты, то наверное не раз натыкались на сообщения: в такой-то стране возник пожар в шахте — вытащено несколько десятков или несколько сотен трупов.

Сейчас я вас удивлю. В этом году на особом совещании при Госплане обсуждался вопрос о подземных пожарах — но не о том, как с ними бороться, а как их вызвать искусственно.

Это звучит так странно, что даже многие ученые не сразу этому поверили. К тому же инициатива в этом деле исходила не от ученых, а от красноармейцев 78-го кавалерийского полка.

А красноармейцы этого полка читали на своих политзанятиях сочинения Ленина. Читали XVI том и там наткнулись на малоизвестную статью Ленина. В этой статье Ленин пишет, что впервые великий русский химик Менделеев, а потом англичанин Рамзай высказали удивительную мысль: можно уголь не выламывать под землей и потом везти его на фабрики и заводы, а сразу сжигать уголь под землей. Тогда уголь даст горючий газ. Надо этот газ вывести наверх по трубам и построить тут же завод или электростанцию, работающую на газе.

«Это великая мысль, — пишет Ленин, — надо ее осуществить на деле... Менделеев и Рамзай советовали как раз устраивать подземные пожары. Только пожары эти, конечно, надо устраивать умеючи. При обычных подземных пожарах люди гибнут, а газ сгорает под землей. А устроить надо как раз наоборот: уголь должен гореть так, чтобы газ выходил на землю, и чтобы люди были в полной безопасности».

И красноармейцы, когда прочли статью Ленина, написали сразу письмо в газету. Они спрашивали: как обстоит дело с открытием, на которое указывает Ленин, осуществлено ли оно на деле?

И оказалось, что о нем просто забыли. Кроме того, собственно Менделеев только указал на задачу, которая ждет своего разрешения. Это была великая мысль, но еще не открытие: надо было найти способы, как провести эту идею в жизнь.

И вот советские ученые стали искать таких способов. А в начале 1932 года в Москве состоялось совещание при Госплане. На этом совещании профессор Кириченко рассказал о своем проекте.

Профессор Кириченко предлагал вырыть на некотором расстоянии друг от друга три колодца, три глубоких шахты, которые пересекали бы угольный пласт. Первый колодец — для спуска и подъема рабочих, которые будут производить подготовительную перед зажиганием работу. Второй колодец — для подачи вниз воздуха: ведь для горения нужен воздух. А по третьему колодцу будут подниматься вверх горючие газы.

Все это очень легко представить. Но дальше начинаются трудности. Дело в том, что угольный пласт надо разрыхлить, чтобы он горел. Но если шахтеры будут работать под землей, разрыхляя новый пласт, в то время, когда где-то недалеко уже горит соседний пласт, — без человеческих жертв не обойтись.

Надо во что бы то ни стало устроить так, чтобы люди не работали по соседству с огнем. Но кто же тогда будет работать за них?

Профессор Кириченко нашел выход. Он предлагает заложить заранее в пласты угля заряды динамита.

Вот зажигают уголь. Для этого не надо спускаться под землю: достаточно повернуть рубильник в будочке на земле—и электрический ток включен, уголь загорелся и первый заряд динамита взорвался. Огонь идет по разрыхленному пласту и доходит до места, где пласт еще плотный. Но тут как раз заложен второй заряд динамита. От жара динамит взрывается и разрыхляет пласт дальше. Опять разрыхленный участок кончается, опять заряд динамита, опять взрыв. И так все время повторяется одна и та же история: огонь взрывает динамит, а динамит прокладывает дорогу огню дальше.

Но тут надо еще устроить так, чтобы уголь горел очень медленно. Только тогда он будет давать много газа. Надо, чтобы огонь проходил за сутки всего навсего один метр, не больше. Надо было, говоря коротко, научиться управлять пожаром. Оказалось, что и эта задача решается просто. Надо только подавать под землею воздух очень скупо. Ведь если закрыть поддувало печки, чтобы в нее почти не проходил воздух, дрова будут гореть очень медленно. Так же и с углем. Разница только в том, что в печке поддувало внизу, а тут наверху...

Газ будет уловлен в трубы и подведен к топкам электростанций. Вместо того чтобы выламывать уголь под землей, тащить его наверх, грузить на поезда и отправлять поезда с углем за сотни и тысячи километров, мы будем пересылать просто электрический ток... А вы знаете, насколько это выгоднее? Ведь посылать поезд с углем в далекую дорогу — это все равно, что везти лошади воз с овсом: лошадь по дороге съест овес, а паровоз за время далекого пути пожирает добрую часть того самого угля, который он тащит.

Совещание при Госплане постановило: выделить для опытов с подземной газификацией угля два участка — один под Москвой, другой — у Лисичанска. Сейчас эти опыты уже производятся и по моим сведениям идут успешно. Наверное скоро будут опубликованы точные результаты...

Когда химик кончил рассказывать, я спросил его:

— А за границей такие опыты производятся?

— Я слежу за этим делом внимательно, — ответил химик, — и могу ответить вполне точно: нет, нигде в мире, кроме СССР, таких опытов не производят.

— Это очень странно, — сказал я.— Ведь капиталистическим странам уголь нужен тоже, а выгода такого использования угля очевидна. Сочинения Рамзая и Менделеева там известны, надо полагать, не хуже чем у нас... Мы привыкли к тому, что нам надо догонять заграничную технику, а тут, оказывается, мы забежали вперед.

— Да, — сказал химик, — сочинения Рамзая и Менделеева, там, конечно, известны. И сила угля, конечно нужна всем странам. Но вот с «догнать и перегнать» дело обстоит не так просто, как вам кажется. Мы действительно не имеем такого опыта, как капиталистическая техника, и нам еще многому надо у нее учиться. Но зато наши возможности гораздо шире. Не думайте, что на Западе не было ученых, которые работали бы в этом направлении. Но их

работа уперлась в тупик. И этот тупик — кризис. И что бы им могли ответить шахтовладельцы?..

— Дорогой мой, — скажет вам капиталист, — вы забыли, что сейчас — кризис. Я сокращаю добычу угля в своих шахтах. Народ так обнищал, что я уже не могу продавать столько угля, сколько продавал прежде. Вы мне сулите, что ваше открытие даст возможность использовать энергию угля полнее, чем сейчас, без потерь на перевозки и перегрузки. Спасибо большое: это значит нужно будет еще меньше угля, чем сейчас. Вы, очевидно, хотите меня разорить.

РАССКАЗ ВТОРОГО УЧЕНОГО

Я метеоролог. Моя наука на первый взгляд довольно сухая: «циклоны, антициклоны, ожидается похолодание, осадки маловероятны». Но сейчас метеорология от задачи «объяснить мир», говоря словами Маркса, переходит к задаче «переделать его». Об этой переделке и об открытиях, связанных с ней, я вам и расскажу.

Известно ли вам, что из всех грозных сил природы, с которыми приходится сталкиваться людям — землетрясения, наводнения, ураганы, засуха, — больше всего вреда приносит засуха. Конечно, землетрясение или наводнение эффектны, но они бывают реже и не захватывают таких огромных областей, как засуха. Вспомните только, сколько «голодных» лет было до революции. Но и сейчас засуха еще не побеждена. Достаточно сказать, что один засушливый год стоит нам дороже, чем стоила бы постройка трех Днепрогэсов.

На конференции по борьбе с засухой перед всеми советскими учеными была поставлена задача: что может дать их наука борьбе с засухой?

И вот первыми откликаются, конечно, метеорологи. Ведь для того, чтобы подготовиться к засухе, надо узнать, где она будет, надо предсказать, какое будет лето, где будет какая погода.

Но, оказывается, для того чтобы верно предсказывать погоду на долгий срок вперед, метеорологам надо превратиться в полярных разведчиков. Потому что там, в ледяных пустынях зарождаются вихри, которые обегают всю Европу и Азию. Там, в ледяном океане, — котел, в котором готовится погода для Сибири, Урала, Поволжья, Украины, там — «кухня погоды».

Надо проследить путь этих вихрей, надо их отметить при самом их зарождении.

И вот далеко на севере, среди вечных льдов, там, где четыре месяца подряд солнце даже не всходит на небо и стоит сплошная ночь, — там работают наши товарищи.

Я не буду вам описывать их работу. Вы сами можете представить, как она тяжела. Даже в сорокаградусные морозы, даже при ветре, валящем с ног, идут метеорологи проверять приборы, записывать силу и направление ветра, влажность и температуру воздуха.

Свистит, воет, гудит мятель. Лают, визжат запертые в сарай собаки. Но сквозь мятель, сквозь черную полярную ночь несутся к нам по азбуке Морзе радиосообщения наших товарищей, зимующих на Севере.

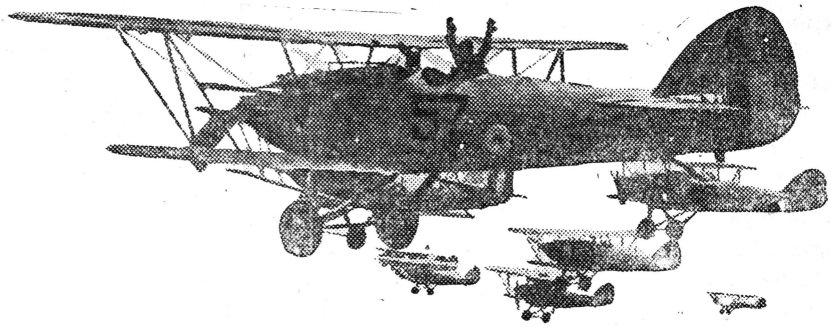
Для того, чтобы заставить Арктику открыть свои тайны, недостаточно просто пролететь над льдами, как это сделал, например, несколько лет назад Берд, промчавшийся без остановки на аэроплане над полюсом, чтобы опередить Амундсена.

Надо окружить Арктику тесным кольцом станций. Сначала все северные станции дали согласие на это дело. Но потом оказалось, что ни одна страна, кроме СССР, не может выполнить обязательств: во время кризиса капиталистические государства решили экономить на науке. Сейчас больше половины всех полярных станций принадлежит СССР...

Но мало предсказать засуху, надо суметь победить ее. И тут метеорологии на помощь приходит целый ряд наук.

Институт прикладной ботаники выводит новые засухоустойчивые сорта злаков. Лесной институт определяет, где и как садить лесные заслоны против палящих, засушающих ветров. Агрономические институты разрабатывают новые методы снегозадержания на полях. Все колхозы и совхозы включились в борьбу с засухой. Комсомол взял шефство над этим делом.

Советское правительство приступает к постройке на Волге новой гидростан-



РАЗГОВАРИВАЮТ ЦИФРЫ

Еще живы люди, которые видели первые аэропланы.

Ни первым авиаторам ни зрителям их полетов даже не снилось, что в 1932 году авиация достигнет таких рекордов:

— *по дальности полета:*

Французские летчики Босутро и Росси покрыли расстояние в 10 600 километров. Они пробыли в воздухе без посадки 76 часов 43 минуты.

— *по быстроте полета:*

Итальянский летчик Нери достиг на гидроплане скорости в 745 километров в час — в 150 раз быстрее среднего пешехода. Во время полета в кабине самолета было так жарко, что Нери сидел в особом асбестовом костюме, как в термосе.

— *по высоте подъема:*

Французский летчик Синэрен поднялся с грузом в 500 килограммов на высоту в 10 300 метров. Там было так холодно, что летчик не мог управлять самолетом и был вынужден снизиться. Если бы не холод, он поднялся бы еще выше.

— *по быстроте подъема:*

Польский летчик Орлинский поднялся на высоту в 5000 метров с рекордной быстротой в 6 минут 30 секунд.

Какие победы техники!

Но к этим словам нужно добавить — военной техники.

Все четыре летчика — военные летчики. Их самолеты — военные самолеты. Их полеты — рекорды вооружения.

«Когда читаешь о том, — пишет Карл Радек, — что старик Юнкерс уже готовит аэропланы, которые поднимутся на 15 000 метров, чтобы на этих высотах преодолевать пространство со скоростью от 500 до 1000 километров в час, то с чувством горячей благодарности к великим ученым связывается чувство глубочайшей тревоги. Ведь исчезновение пространства означает приближение и увеличение военной опасности. Мировые хищники сумеют уничтожить труд миллионов, живущих за тысячи верст от них».

ции. Это будет величайшая гидростанция в мире. Ее плотина — это будет целая огромная стена в несколько километров. Воду Волги по сотням каналам направят на поля, изнемогающие от засухи.

Так наукам приходится подавать друг другу помощь, чтобы победить засуху. От ученого метеоролога, зимующего на Новой Земле, до рабочего, строящего гидростанцию, и до пионера, сажающего деревья, все включены в одну цепь, все работают по одному плану. Осуществляется планирование науки, возможное только при плановом, социалистическом хозяйстве...

В Ашхабаде профессор Федосеев затребовал для своих опытов дымовые шашки, которые жгут на войне, когда надо укрыться от взора неприятеля: они

дают огромное количество дыма. Но зачем понадобились дымовые шашки профессору Федосееву?

В жаркий безоблачный день вышел Федосеев со своим помощником из лаборатории.

— Небо совсем синее, — сказал помощник, — вряд ли опыт удастся.

— В воздухе всегда плавают капельки пара, — сказал Федосеев, — такие маленькие, что их не видно. Надо только собрать их вместе, чтобы получилось облако.

Помощник поджег дымовые шашки, дым повалил клубами. Федосеев завел электрическую машину, вынул часы и положил их перед собой. Ровно гудела машина, заряжая миллионы пылинок, из которых состоит дым, электричеством.

Ровно гудела машина. Дым шел вверх, в небо, и таял там. Оба ученых стояли, закинув головы, и смотрели в небо.

И вот в небе забелело тонкое, почти прозрачное облако. Оно медленно вырастало и гудело.

Федосеев взглянул на часы: прошло уже больше двух часов с начала опыта.

Вдруг помощник впился глазами в Федосеева и прошептал:

— Мне кажется... мне кажется, пошел дождь.

Федосеев поднял руку. На нее упало несколько капель дождя. Федосеев и его помощник все стояли, точно ждали еще чего-то, а дождь моросил над ними, капли падали на головы и плечи.

Сейчас опытами по искусственному дождеванию занимается не один Федосеев. Пробуются другие методы, тоже основанные на притяжении капелек заряженными электричеством частицами. До сих пор еще нельзя точно сказать, какой метод окажется лучшим, таким, чтобы его можно было применять на практике.

Сейчас этим делом занимается особый научный институт в Москве, единственный в мире научный институт искусственного дождевания.

Когда метеоролог кончил рассказывать, я спросил его:

— Почему же за границей нет институтов искусственного дождевания? Ведь это дело не требует таких затрат, как подземная газификация угля, и, кажется, не грозит ничьим интересам. Неужели же за границей не нашлось ни одного ученого, который бы работал в этой области?

— За границей есть такой ученый. Его зовут Вильямс Хэйт. Он производил свои опыты в Калифорнии. Все шло уже на лад, когда он натолкнулся на неожиданное препятствие. Дело в том, что при капитализме земледелие, как все вообще хозяйство, ведется без плана. Рядом находятся участки отдельных собственников, и каждый землевладелец возделывает то, что ему кажется наиболее выгодным, сообразуясь с колебаниями рыночных цен. Здесь, например, апельсиновая роща, а рядом лимоны, а еще по соседству арбузы или дыни. Но каждому растению, как вы знаете, нужен дождь в свое время. Если дождь пойдет не во-время для него, он только повредит. Пока дождь — дело случая, претензий предъявлять не к кому. Но позволить, чтобы шел искусственно вызванный дождь вам в убыток и на прибыль вашему соседу, — на это, конечно, никто не пойдет. А объединить хозяйство нельзя, земля принадлежит частным владельцам, конкурирующим между собой. Разделить небо так, чтобы над вашим участком шел дождь, а рядом — нет, тоже невозможно. Вот почему опыты Хэйта на Западе заглохли, не дав никаких реальных результатов.

РАССКАЗ ТРЕТЬЕГО УЧЕНОГО

— Моя специальность — электричество. Я родился и жил всю жизнь в Германии и только недавно переехал к вам в СССР. Я прибыл в СССР случайно, меня, как физика, пригласили на научную конференцию. А остался я у вас, потому что увидел: только здесь есть простор для работы, которая меня интересует.

Нас, участников конференции, водили по разным научным институтам, показывая их работу. И вот в одном из институтов я увидел то, что меня интересовало больше всего.

Меня провели в большой железобетонный зал. Я стал на балкончике и внимательно глядел вниз. Там я увидел знакомые мне машины с проводами, шарами и катушками. Одни из ра-

ботников лаборатории взял длинный шест и подошел с ним к рубильнику-выключателю. Он повернул рубильник шестом. Ток замкнулся.

Верхние лампы в зале потушили, и стало темно.

— Двести тысяч вольт, — донесся до меня снизу голос. — Триста тысяч... Четыреста тысяч...

Огромные силы действовали в зале. Если бы, по какой-нибудь оплошности, по чьей-нибудь неосторожности, они вырвались на свободу, мы бы все сразу превратились в кусочки угля.

— Пятьсот тысяч вольт,—долетел до меня голос снизу. Провода и части всей установки засияли фиолетово-розовым светом. Послышался шелест, точно засвистел ветер.

— Восемьсот тысяч вольт!

И сразу раздался удар грома. Яркая голубовато-белая молния заметалась внизу, ветвясь и извиваясь, наполняя воздух треском и гулом...

После опыта я беседовал с профессором, заведующим этой лабораторией, и спросил его между прочим: как институту удается добыть средства на эти, чрезвычайно интересные, но не имеющие прямого практического применения, опыты.

Но профессор объяснил мне, что средства на эти опыты дает государство, и что опыты имеют огромное значение для всего хозяйства страны.

Мне остается досказать немногое: так как меня всю жизнь больше всего интересовало исследование и применение токов высокого напряжения, я остался в СССР...

Когда он кончил, химик посмотрел на часы и всплеснул руками:

— До двенадцати осталось четыре минуты, мы чуть не пропустили новый год!

Он полез в свой чемодан, вынул оттуда бутылку вина и налил всем по стакану.

Мы поднялись со стаканами в руках, стараясь их не расплескать, — поезд шел быстро.

— Ну, за что же мы выпьем?—спросил метеоролог.

— За процветание советской науки! — сказал физик, прибывший из Германии, и поднял свой стакан.

РАЗГОВАРИВАЮТ ЦИФРЫ

Когда рабочего увольняют с завода, он идет на Биржу труда.

Там ему говорят, что работы нет, и отказывают в пособии.

Безработный распродает свои пожитки и несколько месяцев живет с семьей впроголодь.

Потом он идет искать помощи у благотворителей и поет псалмы за чашку жидкого кофе и кусок хлеба.

Он напрягает все силы, чтобы сохранить мужество, но безработица и голод принижают его, давят, мучат медленной пыткой.

Для сильных остается один выход — революционная борьба. Но для слабых, для раздавленных нищетой, для обезумевших от голода, для стариков и больных —

Марта Фогель, 32 лет, покончила самоубийством вместе с тремя детьми, открыв газовый кран. Конрад Пельше, 60 лет, выбросился из окна. Иоганн Миллер, 43 лет, повесился в пустующем автомобильном гараже. Ян Костецкий, 36 лет, застрелил из револьвера жену и ребенка и застрелился сам.

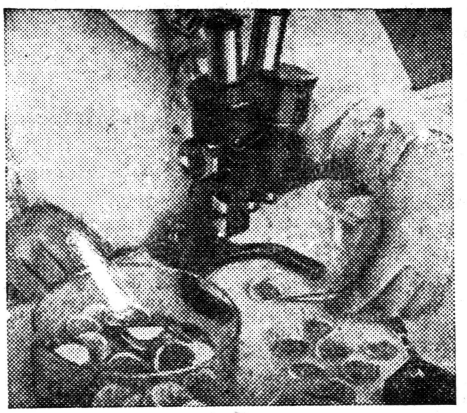
Это маленький клочок из хроники капиталистического города.

В Берлине за сентябрь месяц зарегистрирован 181 случай самоубийства — 6 человек в день.

В Вене за последний год покончили самоубийством 3089 человек — 8 человек в день.

Это — глава из обвинительного акта против капитализма.

РАЗГОВАРИВАЮТ ЦИФРЫ



«Старый Гейдельберг», Геттинген, Бонн...

Знаменитые университетские города, гордость Германии, фабрики немецких студентов.

Все население этих городов или слушает лекции, или преподает их, или сдает квартиры студентам. Иных видов занятий здесь почти нет. Тысячи германских и австрийских студентов учатся в университетских городах, получают ученую степень доктора и...

Что они делают дальше?

В этом году в Венскую музыкальную академию съехалось на экзамены много молодых людей. Они мечтали в будущем стать знаменитыми музыкантами, дирижерами, певцами. У многих действительно были большие способности. Но директор академии не стал проверять их способностей, а задал такой вопрос:

— Есть ли у вас деньги?

— Какие деньги? Чтобы жить во время ученья?

— Нет, после ученья.

Директор знает, что в Австрии сейчас 10 000 инженеров, из них половина без работы. Он знает, что каждый год в Германии прибавляется 40 000 людей с высшим образованием, но из них находит работу по специальности не больше 6000 человек.

Что делают остальные?

Моют посуду в трактирах, торгуют на улицах папиросами, служат в кафе кельнерами, нанимаются в рестораны танцовать с посетительницами. Но и такая работа находится не для всех. Тысячи людей с высшим образованием стоят в очереди у бирж труда.

Статистики подсчитали, что через 2 года в Германии будет 130 000 безработных с высшим образованием.

А в это время в «старый Гейдельберг», в Иену, в Бонн едут за высшим образованием тысячи молодых людей.

— Нужно закрыть эти фабрики ученых безработных, — решают хозяева капиталистического мира.

В одной газете было напечатано воззвание объединения германских предпринимательских организаций и Союза германских химиков. Они призывают молодежь не поступать в университеты и высшие технические школы.

В другой газете был напечатан проект ограничения приема на медицинские факультеты. Газета считает, что германские университеты не должны выпускать больше 1500 врачей в год.

Гордится ли теперь Германия своими университетскими городами?

8-го декабря вернулись в Ленинград участники героического похода „Сибирякова". Среди них наши специальные корреспонденты—Громов и художник Л. Кантторович. В ближайших №№ они расскажут о днях великого арктического похода.

НАУКА НА ЛИНИИ ОГНЯ

ДИСТАНЦИЯ ОГРОМНОГО РАЗМЕРА

Президент Всесоюзной академии наук А. П. КАРПИНСКИЙ

— Нам часто приходится слышать выражение «советская наука» в отличие от какой-то иной науки, тогда как наука, как искание единой истины, должна бы логически быть тоже единой, независимо от методов, какими представители ее ведут свою исследовательскую работу для достижения этой истины.

Правда, мы говорим: «немецкая наука», «французская наука», но такое подразделение по национальностям или, вернее, по странам обусловливается так называемой школой, методикой, свойственной данной стране, или же доминирующим развитием известной дисциплины в какой-нибудь стране в результате определенных условий, результатом чего являются достижения в данной области, составляющие науке в данной стране определенную репутацию.

Как бы то ни было, независимо от указанных обстоятельств, между нашей наукой и наукой других стран существует различие и заключается оно в способе использования ее достижений. Все успехи науки, все ее достижения в нашем Союзе обращаются на общую пользу страны, и вопросы личной выгоды отдельных лиц или предприятий никоим образом в условиях нашего Союза в расчет приниматься не могут. Поэтому, если между отдельными органами, ведущими однотипную научно-исследовательскую работу, существует «соревнование», то «конкуренция» между ними невозможна. Между тем, в странах с иным государственным строем существуют, помимо правительственных, частные исследовательские институты, лаборатории и бюро, обслуживающие узко-личные интересы, что нередко препятствует своевременному обнародованию достигнутых успехов, которые используются для индивидуальной выгоды часто в ущерб общей.

Освобождение науки от такого обслуживания личных интересов и использование всех ее достижений для общего блага и составляет характерную черту «советской науки».

Академик А. А. БАЙКОВ

ПРОБЛЕМУ МЕТАЛЛА РАЗРЕШИМ МЫ

Возрастающая с каждым годом потребность советского народного хозяйства в черных металлах и особенно в высококачественной стали обеспечивается за счет тех общеизвестных технических мероприятий, которые проводятся сейчас в жизнь советской вла-

стью, сумевшей превратить республику из страны малокультурной с ничтожной промышленностью в высоко развитое индустриальное государство. Борьба за 22 миллиона тонн металла открывает перспективы перед совершенно новым для нашей промышленности способом, так называемого прямого получения железа.

В современных способах получения стали имеется одно чрезвычайно сложное промежуточное звено — это операция получения чугуна. Единственный способ массового превращения железной руды в металл — это доменный процесс.

Теоретически не представляется больших трудностей получать железо непосредственно из руды, т. е. откинуть все те сложные операции, которые связаны с доменной плавкой. Прямое получение железа из руд по своей сущности представляет простую и хорошо известную химическую реакцию, которая может быть осуществлена без особых затруднений. Однако, как только ставится вопрос о воспроизведении этого процесса в больших заводских масштабах, сразу же встают значительные трудности как в части аппаратурной, так и по линии стоимости производства.

Самый процесс может быть осуществлен как при помощи газообразных восстановителей, так и при помощи твердого горючего. Газообразные восстановители имеют преимущества в том отношении, что они не вносят никаких загрязнений в металл. Зато невыгодно то, что объем их на единицу железа чрезвычайно велик, а кроме того проникновение газов во внутреннюю часть шихты происходит чрезвычайно медленно. Твердое горючее представляет значительные преимущества в этом отношении, но оно вносит различные нелетучие примеси, загрязняющие получаемый металл.

Технологические трудности процесса в большом масштабе заключаются, во-первых, в необходимости применять очень богатые и чистые руды, во-вторых — в трудностях прогрева шихты до нужной температуры. Устранение этих обстоятельств вызывает как сложность применяемых конструкций, так и сложность всего комплекса операций в этом процессе.

Губчатое железо, получаемое путем восстановления руд, обладает высокими металлургическими качествами. Оно может найти очень важное применение при изготовлении некоторых сортов высококачественной стали. Способ прямого восстановления может также получить развитие при обработке комплексных руд, например, титано-магнетитовых, позволяя на ряду с губчатым железом, получать другие продукты высокой ценности.

Все это выдвигает *прямое получение железа* в ряды больших и важных проблем. В Советском Союзе история прямого восстановления железа насчитывает не больше годичного срока. Этим вопросом занимается ряд научно-исследовательских организаций, в частности институты металлов — Ленинградский, Уральский, Днепропетровский и некоторые заводы. В марте в Ленинграде созывалась первая всесоюзная конференция. Проблема еще далека от разрешения, но во всяком случае уже накоплен материал, заслуживающий того, чтобы обратить на него самое серьезное внимание. Дальнейшее развитие работ позволит найти относительно простой и достаточно выгодный способ прямого получения железа в промышленном масштабе.

Планово-социалистическое хозяйство Советского Союза обеспечивает разрешение проблемы, которая обещает внести настоящий переворот в металлургии.

Академик А. Е. ФАВОРСКИЙ

ХИМИЧЕСКАЯ НАУКА ВО ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

На годовом собрании английского Химического общества 27 марта 1924 г. президент общества проф. Пальмер Уинни выступил с речью «О значении работ русских химиков для мировой науки».

Давая общую оценку достижений русских химиков, Уинни сказал:

— Если мы оцениваем по заслугам русскую музыкальную школу, связан-

ную с именами Балакирева, Бородина, Римского-Корсакова и Чайковского, или русских писателей — Тургенева, Льва Толстого и их современников, считаем, что без них свет был бы неизмеримо беднее, то не будет преувеличением утверждать, что рост химии не в меньшей степени был бы задержан, если бы работы Менделеева, Бутлерова, Марковникова, Зайцева, Вагнера и их преемников были изъяты из общей сокровищницы знаний.

Такую лестную оценку со стороны иностранца получила русская химическая наука и русские химики дореволюционного периода, а что происходит сегодня?

Наука охватывает нашу огромную страну, проникая к рабочим станкам, на совхозные и колхозные поля, широко развертываясь в массах в форме изобретательства.

Многомиллионные народы Союза, освобожденные от социального гнета, вливают свои творческие силы в научное движение.

Октябрьская революция вскрыла и дала ход неисчерпаемым залежам человеческих талантов и способностей, которые самой многоцветностью своих национальных культур будут все больше оплодотворять науку для достижения общей исторической задачи — построения новой великой человеческой культуры коммунизма. СССР есть единственная страна в мире, где самое сильное и яркое развитие науки является насущной потребностью всего многомиллионного населения всех входящих в Союз народов.

Отсюда безграничная ослепительная перспектива этого развития.

За границей капитализм в тисках экономического кризиса сбрасывает со своего тонущего корабля «лишние» культурные ценности, в том числе и науку. Так происходит, например, с биологами в Германии. Серьезно обсуждается вопрос о том, чтобы остановить технический прогресс.

В связи с этим в самой науке—стремления к витализму, идеализму и религии. С материалистического научного пути сбивается даже естествознание. Так например в немецком журнале, посвященном естествознанию, в номере от 30 сентября 1932 года с сочувствием приводятся взгляды некоего фон Мисакова, анатома мозга и невролога цюрихского университета, о том, что в будущем все больше должно расти влияние религии в индивидуальной и общественной жизни, и что теории происхождения религии материалистов «не выдерживают научной критики».

Науку за границей ждет упадок и разрушение, если только ученые не поймут, где их настоящее место, и не придут к рабочему классу, чтобы вместе с ним бороться за коммунизм, обеспечивающий самый полный, самый яркий расцвет науки.

Академик Б. А. КЕЛЛЕР

БУДУЩЕЕ НАУКИ СССР И ЗАГРАНИЦЕЙ

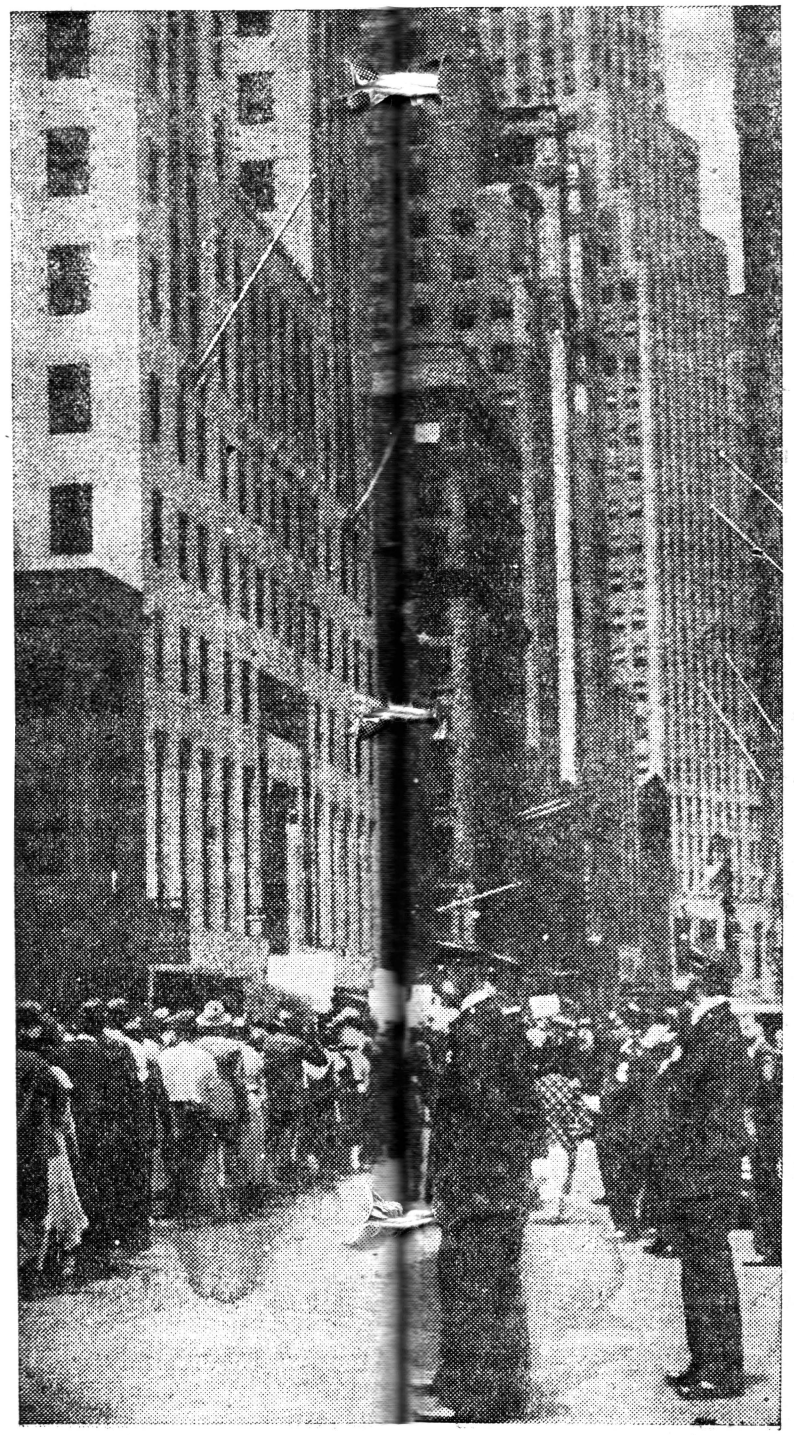
Мы находимся у порога второй пятилетки. И на этой исторической грани ясны основные вехи и общий характер развития нашей социалистической науки. Растут многочисленные научно-исследовательские институты, вузовские

лаборатории и т. д. И во главе их всех должен стать союз академий.

Наша наука идет по пути материализма — диалектического и исторического, она все больше проникается марксистско-ленинской методологией, неразрывной связью теории и практики. Наша грандиозная социалистическая стройка требует все более сильной научной теории. Нигде на земле не ценится сейчас так высоко научная теория, как в СССР. Социалистическая наука есть наука плановая. И в этом плане одна из главных задач — создать наилучшие условия для индивидуального научного творчества, чтобы полнее использовать его для общей великой цели.

План дает возможность посягать на самые крупные научные проблемы, подходя к ним целыми научными отрядами, создавая научные конвейеры из ученых разных специальностей.

После революции обстановка быстро и резко меняется. Объявлен лозунг индустриализации, а затем и химизации страны, все наличные кадры химиков призваны к строительству социалистической промышленности и дано задание «догнать и перегнать» капиталистические страны. За годы первой пятилетки создается промышленность, не уступающая, а часто и превосходящая промышленность Запада. Все силы химиков направлены на разработку вопросов, имеющих непосредственное отношение к промышленности. Разработки теоретических проблем стояли несколько в тени, здесь чувствуется некоторая отсталость. И во вторую пятилетку, когда мы будем обязаны уже перегнать капиталистические страны, на химическую теорию должно быть обращено особенное внимание. Химическая ассоциация Академии наук, научно-исследовательские институты, Центральный и местные комитеты по химизации планируют эту работу, выдвигают в первую очередь по всем отделам химии наиболее важные теоретические проблемы. ВЦИК СССР издает декрет о высшей школе, на основании которого университеты получают широкие возможности подготовки высококвалифицированных химических кадров на смену постепенно сходящих со сцены ветеранов науки.



РАЗГОВАРИВАЮТ ЦИФРЫ

Сто лет назад на месте Чикаго была грязная деревушка. Не больше сотни деревянных лачуг. Американцы — великие любители пышных имен — не придумали для этой деревни даже мало-мальски «красивого» имени. Чикаго по-индейски значит — дикий лук. Куда это годится в сравнении с Бостоном, Филадельфией, Вашингтоном.

Но дикий лук рос, как у индийского фокусника. Прикрыл платком маленькое зернышко — и за какую-нибудь минуту оно превращается в деревцо.

Через двадцать лет в Чикаго было больше ста тысяч жителей, а сейчас — несколько миллионов.

Так росли Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Берлин, Гамбург — сотни капиталистических городов. Росли вширь и ввысь.

На месте деревянных лачуг появлялись каменные двухэтажные коттэджи. На месте коттэджей — семиэтажные «доходные дома». Этаж нарастал над этажом, и горожане придумали для новых домов название — небоскребы.

Король швейных машинок Зингер выстроил небоскреб в 47 этажей. Его перегнал Вулворт — 56 этажей. Вулворта перегнал Крислер — 68 этажей. Банк «Манхэттэн» поднялся еще выше — 71 этаж. Но Ларкин лезет выше всех — 110 этажей.

Так росли города капиталистического процветания.

Сейчас

Около Чикаго, на болотистом поле растет новый город. В нем нет домов — одни шалаши и землянки. Коттэджи из ящиков, обитых ржавыми листами железа, избушки из фанеры, блокгаузы из обломков досок. В блокгаузах и землянках дымятся печки, сложенные на скорую руку из разбитых кирпичей. Ни водопровода ни электричества. Это Чикаго безработных, выброшенных из своих квартир за невзнос платы хозяину.

И в Буэнос-Айресе вырос город из ржавого железа и старых ящиков и в Берлине, и в Гамбурге, — там для них уже придумали название «Кистендерфер» — ящичные деревни.

А в старом Чикаго, в огромном каменном городе царит смятение: обанкротился муниципалитет. На улицах погасла половина фонарей. Водопровод работает только четыре-пять часов в день. Третья часть полицейских уволена.

В старом Берлине за последний год убавилось 500 000 человек.

В старом Гамбурге пустуют 8000 квартир.

Города процветания — в параличе.

Города кризиса растут.

ВТОРОЕ СЛАГАЕМОЕ

в. дружинин

рис. в. иванова

1

Весна 1921 года стояла на бостонских улицах. В Бостоне было светло, шумно, весело, — совсем не так, как в холодной Москве. Иван Евграфович Кострицын покачивался в вагоне пригородного поезда, не торопясь разводил в стакане таблетку «Клио» и слушал соотечественника.

— Это ужас, Иван Евграфович, просто ужас. Они, правда, заменили продразверстку каким-то там налогом, но это, ей-богу, не поможет, Иван Евграфович. И в такое-то время...

— Полтора миллиона киловатт, — подхватил Иван Евграфович. — Построить тридцать районных станций? Да что они — обалдели, Петр Степанович?

— Заметьте, Иван Евграфович: Рыков — против, Троцкий—тоже против. Троцкий говорил — сколотим трудовую армию и будем сначала поднимать то, что разрушено. Где уж тут строить?

— Вот именно. А Ленин что?

— Ленин стоит на своем. Прямо непостижимо, Иван Евграфович. И прежде всего хотят они построить станцию на Волхове.

— Да?

— Потом на Днепре. Вы подумайте только — на Днепровских порогах.

Иван Евграфович уронил вторую таблетку и решительно посмотрел на собеседника.

— Блестящая идея, Петр Степанович.

— Что?

— Днепр оседлать. Плохо, что большевикам Днепр достался. А то бы...

— Что, горит инженерское сердце?

Иван Евграфович опрокинул стакан.

— Русское сердце горит, вот что. Вы поверите, Петр Степанович, — вот русская линейка. Два года в кармане ношу. Есть американские — хорошо черти делают. А не могу вот... Не могу бросить нашу. И вы заметьте — я не убежал от большевиков. Нет, мне разрешили. Мне ведь все равно, Петр Степанович — хоть большевик, хоть чорт, хоть царь правит. Наше дело техническое. Где машина здорова, там и я весел. Вот и сижу здесь...

— Ну, и сидите.

— А до каких же пор сидеть? Верно — разбогатели американцы, плотины такие строят, что шапку сносит. А все не то.

— Не то?

— Не то, Петр Степанович. Вон мистер Спарк проектирует станцию на Теннесси — там тоже пороги, как у нас на Днепре. А мне-то... мне-то наплевать на мистера Спарка. Я, милый, стар американскими рекордами жить. Во чужом пиру похмелье это, как наши старики говорят.

— Так будем ждать российских рекордов, Иван Евграфович?

Иван Евграфович вздохнул и нащупал в жилетном кармане третью таблетку.

2

Голубая река Теннесси широким потоком стекала со стены. На стене, придерживаемые кнопками, висели Алабама и Теннесси. На севере Алабамы стоял заштрихованным квадратом город Флоренс с единственным небоскребом. От города начинались пороги Теннесси—те самые, на которых разбился индейский вождь Сердце Пантеры. В пороги упиралась палочка Ивана Евграфовича Кострицына.

Мистер Спарк — сенатор Соединенных штатов, лично ответственный за постройку станции — разослал инженеров с чертежами по конторам промышленных компаний. Река Теннесси текла в Бакелайт-компании, у Николсона, у Нэша, у Кризлера, у Доджа. Сегодня мистер Кострицын ввел ее устьем в правление Стальной корпорации.

На столе лежала огромная, плотная рука. Рука принадлежала мистеру Гэри—человеку стали. Гэри не двигался— значит его интересует голубой поток Теннесси. Поэтому серьезен и секретарь Гэри, Тимоти. Он подражает Гэри — так же сидит, так же смотрит исподло-

бья. Он внимательно смотрит на пороги со странным названием «Москл Шолс». Что будет на месте Москл Шолс?

Сталь буравит скалу, в скалу проникает аммонал. Белые взрывы сносят скалы и пороги Теннесси — сносят в трех местах. Три плотины перегораживают реку — по трем ступеням будут спускаться взбешенные гребни реки. Средняя плотина длиной в 1500 метров — первая очередь стройки.

— А вторая?

— Вторая очередь окончательно спроектирована, но о ней рано говорить, джентльмены. Мы не знаем потребителей энергии.

Средняя плотина удержит напор в 28 метров. Для спуска воды вот здесь — указка Кострицына переходит к эскизам — 58 водосливных отверстий. А это здание станции — вот восемнадцать турбин общей мощностью в 600 тысяч лошадиных сил. Заметьте — к каждой турбине вода подводится по трем каналам...

— А генераторы?

— Генераторы будут чрезвычайно велики. Диаметр — 9,5 метра.

— А как вы себе представляете использование?

Этого вопроса Иван Евграфович ждал.

— Только объединенными силами, джентльмены. Я рисую себе так—предприятия Стальной корпорации, предприятия инструментальной, горной, консервной, молочной промышленности, сахарные заводы двух штатов соглашаются совместно пользоваться электричеством. На дешевой энергии создаются новые предприятия... Электричество передается фермерам — для электропахоты. Электрифицируется железнодорожная сеть. Исключительно широкие перспективы...

Да, перспективы исключительно широки. Тимоти впивается глазами в чертеж, — ему нравится идея гидростанции. Одобрительно кивает головой консультант корпорации, Брэк.

— Возможности без капиталов,—гулко раздается в комнате,—возможности без капиталов мертвы.

Это говорит сам Гэри.

— Я, дорогие джентльмены, мало верю в кооперацию. Это чушь. У нас в Америке каждый сам за себя, что бы там ни говорили нынешние либералы.

Иван Евграфович затихает и быстро снимает чертежи. Он сворачивает их в длинную трубку и опускает при этом глаза. Иван Евграфович недоволен, — он сухо кивает и уходит. Кто-то смеется вдогонку.

— Фантазеры эти русские, я вам скажу.

3

Четыре клерка, пять машинисток, стенографистки толпятся на площадках, подходят на цыпочках к двери кабинета мистера Спарка. Сейчас перерыв,—они имеют право уйти из конторы и перехватить тарелку «горячей собаки» в ресторане. Нет, Боб, Энди и Фред не уходят, остается Джим и с ним, из солидарности, девушки конторы.

— Мы обязательно узнаем, что делается у босса, — говорит Джим.

Если стать у косяка и затаить дыхание — довольно хорошо слышно, что делается у босса.

— Большевики, — произносит мистер Спарк. — Большевики. Кто бы мог подумать. Огромная станция на Днепре— самая большая в мире. Вы посудите — 810 тыс. лошадиных сил. Вот вам наши — Ниагара — 430 тыс., Коновинго — 601 тыс. Москл Шолс даст 612 тыс. Неплохой проектец!

— Но ведь большевики, мистер Спарк, — отзывается из угла инженер Джонсон. — Построят ли большевики?

— Американцы построят, не правда ли, мистер Джонсон? Большевики обращаются к нам.

— Это очень большая станция, — признает мистер Джонсон.

— Да, очень. Но вы строили большие станции.

— Строил. В Штатах и в Мексике.

— Ну, Мексика — игрушки.

Джим слегка толкнул дверь. Ему показалось, что толчок услышали в кабинете. Он прижимает палец к губам и отходит. Он боится босса.

— Вы поедете? — раздается голос босса за дверью.

Джим старается угадать по голосу — сердится босс или нет. Между прочим в России теперь нет боссов. Интересно, — Джим поворачивает ручку арифмометра, — интересно.

4

Инженер Оппель два года назад работал с Зоргелем в его закуренной рабочей комнате на Каролиненштрассе. Зоргель в шахматном свитре носился по ковру — в воздухе он рисовал огромные плотины, гигантские турбины и трансформаторы. Одна плотина — у Дарданелл. Другая — у Гибралтара. Третья — в Суэцком канале. Средиземное море замыкается искусственными берегами и становится озером. Атлантический океан и Черное море останавливаются в недоумении у плотин. Вниз падает водный уровень Средиземного моря. — Перепад, — кричит Зоргель, замахиваясь на большую серую кошку. — Перепад. Вы понимаете, что это такое?

Инженер Оппель улыбается теперь,— он вспоминает, как два наивных инженера в берлинской комнате хотели загородить Средиземье, построить небывалые гидростанции на перепадах и питать многовольтным бешенством волн всю Европу. Да, всю Европу.

Странно, — там он не ощущал страха перед водой.

Здесь, на Днепре инженер Оппель боится воды. Он никогда не видел такой огромной реки, — другой берег кажется ниткой. Перемычку, кажется инженеру, надо делать грузную, тяжелую. Оппель предлагает — продырявить скалистое дно, всунуть железобетонные балки и между ними соорудить металлическую ограду. Днепр смоет всякую другую перемычку, как вода слизывает пену.

С железобетонным упрямством отстаивали ответный проект американцы. Мистер Джонс сухо перечислял построенные гидростанции — Коновинго, Лоуренс, Колорадо. Везде были хорошие, американские перемычки. Джонсону ясно, — надо ставить сваи с интервалами в один метр—внизу и два — наверху.

Днепр сердито ворчал на порогах, хлестал осенней волной берега. Несколько сот землекопов полосовали землю лопатами, — понемногу приходили экскаваторы-транспортеры. Днепр гневался — он был огромный, взлохмаченный и злой. А в широкооконном доме управления горели ламповые пузыри, горели споры.

Однажды в комнату вошел молодой инженер. Совсем молодой. Русский. Коммунист. Он положил на стол чертежи — свой проект перемычки для Днепра. На чертеже стояли те же американские сваи, но еще шире — полтора метра расстояния внизу и 3,2 метра наверху.

— Это для Днепра? — в ужасе переспросил инженер Оппель.

— Да, повидимому, — недоверчиво произнес мистер Джонсон.

Инженер Блинов развернул листы, убеждал, доказывал. Немцы переглядывались и обдумывали. Американцы упрямились.

— У нас — построенные станции. Коновинго, — Джонсон загнул палец.

— А теория? — настаивал Блинов.

— Нет, — теории нет.

Мистер Джонсон недовольно откинулся. Зачем русским понадобилась теория? Непонятно.

5

Перемычки уложены по смелому проекту коммуниста Блинова, вот покрыта перемычка панцырем тяжелого шпунта и пригоршни землечерпалок закидали ее миллионами тонн песка. Остановлен у перемычек Днепр и в первый раз он показал людям свое дно. Над перемычками стали краны-деррики, по перемычкам пошли рельсы и дно стало котлованом гидростанции. План — уложить 500 тысяч кубометров бетона. Встречный — 518 тысяч — выдвинут и выполнен.

Всего этого не видел клепальщик Кузьмин. Он пришел на Днепр недавно из черноземного села с острыми тополями, принес робкие глаза, большую шапку с порванным ухом и маленький, выцветший кимовский значок. Производственный стаж Кузьмина — не годы, а месяцы, и в комсомольской бригаде товарища Сашко он, несомненно, самый молодой.

Сейчас на реке растут в сплетениях узкоколеек, в чаще кранов, в грохоте и паре 47 пятидесятидвухметровых быков плотины. А в стороне от плотины— здание ГЭС. В здании ГЭС лежат огромные стальные улитки — спирали, — четыре спирали уже укрыты бетоном остальные пять спешно монтируются.

— Что? горит инженерское сердце?

В каждую спираль может войти поезд. Кузьмин знает — для чего нужны спирали, по ним закружится вода Днепра и ударит в лопасти турбинных колес. Для того чтобы скорее заработали турбины, бригада Сашко каждый день поднимает темпы. В руках Кузьмина привычно гремит пневматический молоток.

Мистер Спарк был недоволен плотиной и электростанцией. Плотина росла слишком медленно,—это вероятно оттого, что контора наняла столько ленивых негров, мексиканцев и вообще бродяг. Мистер Спарк знал о стройке по сообщениям начальника, но этого было достаточно.

Клепальщик мистера Спарка, Гарри Битчер, был в свою очередь недоволен строительством. Ему мало нравилось торчать десять часов с пневматическим молотком на этой скользкой проклятой спирали. И это бы еще ничего. Хуже всего работать, когда на тебя смотрят сверху и каждую минуту готовы изругать, когда понукают, как лошадь. Этот скот, мистер Барроуэл, все ходит и ходит, как сыщик, вокруг спирали.

Гарри злится, кричит накальщику, чтобы тот подбрасывал заклепки не так быстро, и сжимает молоток. Он зол — ему хочется нацелиться в стальной бок спирали и пробить его насквозь.

— Какого чорта не подаешь заклепок?! — кричит Кузьмин, оборачиваясь на горн. У него повелительный, хозяйский тон,—это оттого, что молоток теперь быстро работает в его руках. Теперь и он, Кузьмин, чувствует себя ответственным за бригаду.

Девушка в пунцовом платке накаливает заклепки. Недавно она хотела уйти из комсомола. «Ничего не выходит, в брак загоняю, брошу», — плакала она в ячейке. Сегодня в газете напечатали ее имя — «быстро освоилась с производством и показывает пример...»

Американский инженер мистер Джонсон ходит вокруг спирали. Кузьмин знает, что на него смотрит Америка, — он печет заклепки, как блины, на разогревшейся сковороде спирали.

— У нас негры делают 260 заклепок в день, — говорит мистер Джонсон и уходит к бетономешалкам.

«Наш пароль — 700 замесов в смену» — висит над бетономешалкой.

— Жаль, что по-нашему не умеет, — соображает Кузьмин.

Гарри Битчер ведет своеобразную войну с заклепками. Он презрительно накладывает ее и подносит молоток. Бить заклепку ему доставляет удовольствие — физиономия мистера Барроуэла ужасно похожа на такой кусок металла.

Днепровская спираль спешно монтировалась. — А ну, нажмем, — торопил Сашко, вытирая пот рукавицей. Напряжение людей передалось молоткам. Молотки дрожали в наивысшем азарте. Заклепки потухали, чернели, затем оставались светлым, отполированным пятном. Есть пятно, есть другое, третье... «Добрая дивчина накаливает заклепки», — думает Кузьмин. У заклепки — цвет пунцового платка,—Кузьмин улыбается заклепке.

Гарри кончает работу, стаскивает задержавшегося Дарси со спирали и с остервенением бросает молоток.

— Ленивый бродяга,—ворчит Барроуэл.

Черный, потный Сашко подходит к грифельной доске и размашисто пишет мелом — 326 заклепок.

Мистер Джонсон барабанит пальцами по портсигару. Это—признак одобрения.

— Подавись своей спиралью, проклятый боров...

Это кричит Гарри. Он толкает ногой молоток, натягивает зеленую кожаную куртку, заправляет ее в штаны, свистит и уходит. В палатке он надевает сумку.

— Прощай, Дарси, — говорит он товарищу. — Я топаю. Тошно.

6

Через два года Спарк пустил гидростанцию на Москл-Шолс и энергию взяли несколько предприятий, в том числе Алабамская железная дорога. Дорогу электрифицировали и электропоезд пошел под проволокой, как трамвай. Газета Спарка писала о громадной победе американского гения. о *громадной победе американского гения* говорили «Бостон ньюс», «Чикаго трибюн» и все газеты континента. Хвастать впрочем лишне, потому что пришла депрессия, рушатся банки, боссы бранятся между собой пуще прежнего и гидростанция дает для работы пятнадцать процентов энергии.

Гарри Битчер до электрификации Алабамской дороги работал помощником кочегара на паровозе. Он бросал в топку уголь и проклятия, искал самого крепкого виски в «слепых свиньях» [1] и засматривался на зелень долин. Он ушел бы в долины, если бы не желудок и не депрессия.

Паровоз тащил вагоны с клерками, боссами, рабочими. К окнам выходили фермеры — они несли крупу и кур, — им во что бы то ни стало нужно было продать, чтобы заплатить за молотилки и тракторы. На станции толпились хобо и безработные.

В сентябре на дорогу вышли инженеры, ощупали землю, поставили высокие столбы и очень крепко натянули проволоку. К этому времени от Дженераль электрик компани пришел паровоз без трубы, с тупым носом, похожий на гоночный «Оверланд». В этой машине не надо было подбрасывать угли,—внутри было сидение, в окно виден был путь, рядом грелся чайник на проводе. В кабинку электровоза вошел однако не Гарри, а его враг Блонти, которого во Флоренсе звали «рваным сапогом». Гарри ушел с дороги и возненавидел электрические провода.

Гарри стоял за супом в длинной очереди, изредка читал речи Гувера. Он был сердит на мир и теперь сердился больше.

Гарри достал динамита у одного фермера с гор, сделал бомбу и спрятал ее под пиджаком.

Он пришел ночью на электростанцию Спарка и заглянул в окно.

В светлой комнате ворочался, точно связанный великан, один генератор.

Остальные молчали.

Гарри размахнулся и швырнул динамит в полированный шлем генератора.

Судья во Флоренсе долго допрашивал Гарри, но не мог ничего добиться. Гарри показывал язык и смеялся.

---

[1] Нелегальный ресторан с крепкими напитками.

Гарри Битчера направили в медицинскую комиссию.

Гарри так талантливо притворялся сумасшедшим, что ему поверили.

Он надел сумку и ушел в Нью-Йорк. Он никогда не был в таком большом городе. Еще больше безработных и еще ярче реклама.

Он рассказал всю эту историю в Амторге инженеру Кострицыну, который поругался со Спарком и ушел шесть месяцев назад.

Злой бродяга Гарри упорно искал счастья на земном шаре и поэтому поехал в Советский Союз.

Блонти недолго сидел в кабинке электровоза, — компания лопнула и на линии остановились поезда. Кто-то сказал, что надо вернуться к паровозу. Вообще было сумасшествием строить что-нибудь в такой год.

7

ТЕТРАДЬ

студента Днепростроевского энергетического техникума Василия Кузьмина.

1) Куда пойдет энергия Днепровской ГЭС?

Строится металлургический комбинат Запорожстали. Затем алюминиевый комбинат, группа коксохимических заводов, шлако-цементный, шамотный, доломитный, известняковый.

Запорожсталь — самый большой завод в мире. Продукция — 25 процентов качественных сталей в СССР. Двенадцать стационарных, семь качающихся мартенов. Загрузка печи до 1500 тонн. Миллион тонн ежегодной продукции. Цех ферросплавов и инструментальный — первая очередь.

2) Что думает об этом мистер Джонсон?

Алюминиевый комбинат даст в год 40 тысяч тонн металла.

Подчеркнуть в докладе социалистический характер нашего электростроительства. Цель — создать производство, более высокое, чем у капиталистов. Потом — только наш строй обеспечивает широкое развитие электрификации. Планово запроектирован промкомбинат, который возьмет в 1932 году 200 миллионов киловатт. ДГЭС соединяется с рядом крупных электростанций УССР и образует энергетическое кольцо. Совместное обслуживание промышленности Днепростроя, Днепропетровска, Каменска (металлургия в основном), также Кривой Рог и Никополь с марганцем.

Не забыть — собрание ячейки в четыре.

1932, 17.8.

3) Электрификация транспорта — занятие второе.

... На итальянских электрических дорогах товарные поезда на 35-тысячном подъеме идут со скоростью 40 км в час. На лучших дорогах СССР скорость на 6-тысячном подъеме всего 15 в час. На дороге Джиови (Италия) проходило 28 пар поездов с паровозами. Электрификация довела пропускную способность до 120 поездов в сутки.

Расход угля на Ленинградском узле — 500 тыс. ежегодно. Перевозка угля в 25 тыс. вагонов.

Среднее количество грузов через точку пути — в Америке 1608 тысяч тонн, в СССР — 1738 тысяч тонн. Перегрузка дорог. Задачи укрепления транспорта.

Построено 12 800 км новых железных дорог после революции.

Кризис и транспорт. Сокращение транспортных рабочих в Америке на 22 процента в 1930 году. Бездействует 8 тысяч паровозов и 500 тысяч вагонов...

— *Староста, надо повесить эти цифры в классе.*

— *Хорошо.*

8

Девятого октября

пущена первая очередь Днепро-ГЭСа.

Пущены пять аггрегатов по 90 000 лош. сил.

Включено 300 км электропередач.

Дан ток на электроплавку и в ремотный завод «Запорожсталь».

9

Инженер Кострицын в купе скорого поезда перелистывал газеты, журналы, книжки с очень яркими обложками, припадал к окну и впивался в край степи, как будто можно было отсюда увидеть

пущенный по проводам Днепр. Кострицын мало разбирался в своих ощущениях, — он радовался и оттого, что закончена в России самая большая станция, и оттого, что посрамлен ненавистный делец Спарк, и вообще тому, что он снова в России, на родине.

Иван Евграфович плохо спал в поезде и первую ночь не мог заснуть в светлой днепростроевской гостинице. На него смотрели огни Днепра — вода седого, гоголевского Днепра, превращенная в свет, в энергию. Ослепительные брызги этой воды горели под потолком, заглядывали в окна. Круглые шары, налитые ею, качались на главной улице социалистического города — у свежего универмага, у пятиэтажных домов. Старый Тарас Бульба стучится в память инженера Кострицына — вот наклоняется старый Тарас к земле и говорит:

— Не отдам люльку вражьим ляхам.

— Праздник,—вспомнил инженер.— Пятнадцать лет назад была революция.

Улица горела красным. Шли люди — очень много людей. В воздух, как шар, поднималась песня. Шли знамена. Шли полотна с белыми буквами —

Большевистские темпы Днепра передать Волге.

В ударные сроки завершим стройку Днепрокомбината.

«Днепр — большевик», — подумал инженер и улыбнулся.

Днепрогэс — вызов иностранным капиталистам.

Пуск Днепрогэса — праздник трудящихся всего мира.

— Товарищ, становись к своей колонне!

Улица шагала, улица неудержимо двигалась вперед, на залитую кумачом площадь, и вместе с потоком ничтожной соломинкой закружился инженер Кострицын, растерянно и беспомощно.

Вдруг — знакомое, страшно знакомое лицо.

— Идемте рядом, товарищ Кострицын, — говорит знакомым голосом, но по-английски, человек в заправленной зеленой куртке.

Гарри швырнул динамит в генератор...

— Как, Гарри Битчер?

Да, здесь, на Днепрострое шагал под алым знаменем злой американский бродяга Гарри Битчер, истрепавший столько подошв в поисках счастья.

И хаос толпы внезапно стал порядком для Кострицына. Он зашагал в строю, и музыка вошла в его шаг.

— Вы большевик, Гарри?

Гарри смеется и показывает крепкие ковбойские зубы.

— Гарри, вы будете и тут швырять бомбы в машины?

Гарри стыдливо жмурится и снова ослепительно смеется.

— У нас в Советском Союзе, — внятно говорит американский бродяга, — у нас в Советском Союзе другие машины.

Издательство ЦК ВКП(б) „Правда". Сектор „Комсомольская правда".
Отв. редактор И. Слепнев.
Зав. редакцией С. Безбородов. Руковод. оформл. и техн. частью журнала В. Свешников.

Сдано в производство 10/XI. Подписан к печати 3/XII. Количество знаков в листе 97696.
Ленгорлит № 60969 Ст-ф. 72×110. Тираж 50.000 Печ. л.—4 Заказ № 0904

„БОРЬБА МИРОВ“

за 1932 г.

А. АНТОНОВ.—В. М.—103. № 1.
А. БАРБЮ.—Я Обвиняю! № 8—9.
Н. БАСКАКОВ.—Сделано за 15 лет. № 1—10.
С. БЕЗБОРОДОВ. — Черный день. № 5—6.
Н. БРАЗУЛЬ.—Харр. № 5—6.
М. БРАММ.—Краткая повесть о военкоме Егорове. № 8—9.
Его же.—Вступление. № 4.
Его же.—Последнее подполье Ленина № 10.
Н. ВАГНЕР.—Сегодня 136. № 5—6.
Г. ВЕНУС. — Дрезден—Ленинград. № 5—6.
А. ВЛАДИМИРОВ.—Фитиль зажжен. № 1.
В. ГРАНАТОВ.—Год натиска № 2—3.
О. ГРАФ.—Бездомный. № 5—6.
КАТАОКА-ГЭННЕЙ.—Повесть о мирном существовании деревни Кйора. № 5—6.
Л. ДАР, ДОС.—Детство, отрочество, юность. № 8—9.
ДЖОН НАССОС.—2 главы из книги 1919 год. № 8—9.
Его же.—Дом Морганов. № 2—3.
В. ДМИТРИЕВСКИЙ.—Просперити нищеты. № 2—3.
В. ДРУЖИНИН. — Прыжок профессора Строгова. № 1.
Его же.—2 города. № 2—3.
Л. ЖЕЛЕЗНОВ.—Советский аллюминий. № 7.
М. ИВАНОВСКИЙ.—Жан, Леон Жорес. № 8—9.
Б. КАРПОВИЧ. — Бригада Д и П. 2 3.
Н. КОНСТАНТИНОВ.—По ту сторону. № 4.
Д. ЛЕБЕДЕВ.—Люди и мыши. № 1, 2—3.
Его же.—Смерть Гедриса. № 1.
Его же.—В Мадриде горели монастыри. № 4.
Его же.—Утро в Поло. № 5—6.
М. ЛОСКУТОВ.—Ферганское кольцо. № 1.
Его же.—Рождение рассказа. №2—3.
С. ЛЫЗЛОВ.—Логовище врага. № 10.
С. МАРВИЧ. — Привидения которые не возвращаются. № 10.
Его же.—Министр нажал кнопку. № 8—9.
Его-же. — Акционерное общество „Блау-рейн“. № 1, 2—3, 4, 5—6.
Г. МИШКЕВИЧ и ЛЕРОВ. — Дизель КИМ. № 4.
И. РАЕВСКИЙ.—Честь фирмы №5—9.
Л. РАДИЩЕВ.—Школа.
А. РОЗЕН.—Сестра штрейкбрехера.
СЕВЕРИН.—Украденный мир. № 8—9.
С. СКАЙФ.—Покушение на Аврору. № 10.
Д. СЛАВЕНТАНТОР.—Наша ротация, наш линотип. № 4.
М. СТАРОВ.—Комбинат. № 5—6.
ВАЛЬТЕР ШЕНШТЕДТ. — Вылазка в село Лангендорф. № 4.

В иллюстрации журнала принимали участие следующие художники:

А. БЕСПЕРСТОВ
А. ВАСИЛЬЕВ
С. ВЕРХОВСКИЙ
И. ЕЦ
Б. МАРКИЧЕВ
М. ТАРАНОВ
В. СВЕШНИКОВ
М. ТРАМП

Цена 1 руб.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВКП(б) „ПРАВДА"

Открыт прием подписки на 1933 год

НА „БОРЬБА МИРОВ" ЖУРНАЛ

В 1933 году ежемесячный литературно-художественный журнал сюжетной прозы и революционной романтики „БОРЬБА МИРОВ" даст на своих страницах произведения следующих советских и иностранных писателей:

1. **ТЕОДОР ПЛИВИЕР.** — „Кайзер ушел, генералы остались".
2. **Л. СЕРГЕЕВ.** — „Победители севера".
3. **Л. САВИН.** — „Хазри".
4. **Л. ГРАБАРЬ.** — „Дни нашей жизни".
5. **ЗУЕВ-ОРДЫНЕЦ.** — „Бледное озеро".
6. **ЮР. МАРК.** — „Нарушенная тишина".
7. **Ник. КОСТАРЕВ.** — „Новеллы".
8. **Л. РАДИЩЕВ.** — „Двое".
9. **Юл. БЕРЕЗИН.** — „Туркестанские очерки".

В 1933 Г. подписчики получат 12 книжек журнала, в которых будут напечатаны новые романы, повести и рассказы — **М. КАЗАКОВА, Б. ДОЛЕЦКОГО, Юр. Германа, С. МАРВИЧА, П. САЖИНА, ГЕОРГИЯ БЕНУСА, Л. ВАЙСЕНБЕРГА, Б. ЛАПИНА, ДЖОН. ДОСС-ПАССОСА, МАЙКА ГОЛДА** и много других русских и иностранных авторов.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

12 месяцев	6 рублей
6 месяцев	3 рубля
3 месяца	1 руб. 50 коп.
1 месяц	50 „

Цена отдельного номера 50 коп.

Подписка принимается по СССР во всех почтово-телеграфных конторах и агентствах письмоносцами и организаторами подписки на всех предприятиях и учреждениях.

За границей — во всех отделениях Акц. О-ва „Международная Книга"